

РАСКОЛ

Книга огня

роман

Елена КРЮКОВА

г. Нижний Новгород

АНГЕЛ МОЙ
фреска четвёртая
Окончание.

Начало в № 11-12 2022, 1-2 2023.

Он убо, Никон, безчинно отвергшись престола с клятвою, откуда имать власть связати или решити? Не имый же власти вязати или решити, како имать несудимых правилне и необличенных собором проклинати? Кого бо от архиерей и святых отец единомудрствующих с собою не... имея Никон? Ей, никого; но злобы ради самого себе убив, а ихже прокля без ума, сих вправду венча и от Бога благодати сподоби. Оружие бо извлече Никон, по пророку, состреляти убогих от злобы и нищих от всякия неправды, заклати хотя правья сердцем; но оружие его внидет в сердце, и лук его в правду сокрушися. Хулная же вещь на тебе, великаго Государя, неопасива уста имея и ясно показуя и всем свою злобу разорителя святых Божиих монастырей и церквей, и тебе, великаго Государя, нарицая светло, являя кротость и беззлобие твое Государево. Вправду он, Никон, святых Божия монастыри до болюаго убожества привел, строя свой Новый Иеросалим и другие два монастыря, многим скорбь и безчисленную пакость содея; нареченный же его Новый Иеросалим противен древнему, о немже древле пророки проповедаша, и Сын Слово Божие, пресвятыма своима ногама ходя, освяти и безчисленными знаменами и чудесы онаго прослави, и в Нем волею благоволи о нашем спасении пострадати и пречистую свою кровь изляти, перваго же епископа Иякова брата Господня во Иеросалиме своима рукама освяти, и по воскресении своем божественным своим учеником и апостолом от Иеросалима отлучатися не повеле, дондеже облекутся силою свыше, и по вознесении своем на небеса к Богу и Отцу в день пятьдесятный низпослав Святаго и животворящаго Духа во огненных языцех во Иеросалиме же, и на вселенную проповедь от святых апостол от Иеросалима изыде: свидетельствует бо ясно пророк Исаия: яко от Сиона, рече, изыде закон и слово Господне от Иеросалима.

Челобитная Александра, епископа Вятскаго,
к царю Алексею Михайловичу



**(пророчества мои тряпичные,
жемчужные, еловые и сосновые)**

Я гляжу вглубь, я не скажу, што вижу, но, может быть, скажу здесь и сейчас. Кто меня слышит? ты, отче Аввакуме? ты, маленькая девочка, холщовые юбки, босая на резучем снегу? вы, незримые люди? вы только унижаете друг друга, а не милуете. Обнимайте друг друга!.. напрасен крик. Кто убивается на придорожной могиле? Я скажу вам о том, какими вы станете, каким станет Мирь вокруг нас. Разве это можно доподлинно узнать? Разве можно проникнуть во время? да этово же нельзя содеять никогда.

Да, но мы можем увидеть; видеть нам ищо никто не запретил; звёзды станут делиться надвое, натрое, на множество кровавых брызг, и оголтело взрываться; они станут пьяно танцевать на небесах, и повсюду на ночном смоляном небе явятся вспышки! вспышки! вспышки! А што же сама земля-матушка? она станет всё угрюмей, всё грозней и страшней. Землю зальют великие воды. Они поднимутся до небес, потом обрушатся вниз; под водою окажутся высокие горы и широкие степи, волчья тайга и выжженные пустыни; ледяные кувшины Севера опрокинутся, захлебнётся душа человека, зайдётся сердце; взвоятся погибельные ветра, навалятся хищные смерчи, буря будет гнуть и ломать всё, што выстроили мы за долгие века. Многие умрут. Но многие выживут. Море прошепчет песню отлива. И человек опять будет строить, возводить, воскрешать, плача, рыдая, солёной ладонью с лика слёзы отирая, опять складывать из древес и камней разрушенный дом, опять в муках рожать детей своих; а потом кто-то крикнет громко, завопит на весь подлунный Мирь: эй, люди! а вы знаете, люди, што нам осталось жить два понедельника!.. а кто-то прошепчет блаженно: неделя равна столетию, люди, а столетие зону. Чему равен безконечный эон? Он равен Вселенной, потому не говори: нам осталось жить неделю, а просто глаголай: нам немного осталось жить. Столкнемся ли мы снова с железной планетой, сожжёт ли нас новый небесный огонь? Взорвётся ли, яко бочка пороха, родное наше Солнце, уничтожим ли мы себя сами рукотворным, ядовитым пламенем, я не могу тово сказать; к нам прилетят иные Ангелы,

среди них тебя не будет, протопоп, не примечу ты и среди живых, ты увидишь гостей с небес лишь безсмертной, бедной своей душой; они опустятся на землю как наказание, как возмездие или как благословение, тово не ведаю; не называй их богами, они такие же, как мы.

Мы сотворим себе оружие, и оно убьёт не только врага нашево, но и нас самих; погибнет всё живое; кто-нибудь да выживет в огненном Аду; а мрачные механизмы начнут думу думати, они будут мыслить тако же, как человек. Нет, быстрой и хитрей человека! они прикинутся людьми; кирпичные руки, древняные ноги, железные зеницы, стальные влася, тебе протянет руки махина, и ты восхочешь заглянути ей в глаза и прочитат там не мысли, а чувства. Сможешь ли ты, человек, полюбить железяку бездушную? Ну, а махина? Сподобится ли она полюбить тебя? Ежели она тебя и полюбит, она тебе вовеки о том не скажет, да и себе не скажет; ей ни к чему любовь, она просто старательно повторит твои улыбки, поцелуи, слова и слёзы. А ищо, человеце, ты во грядущем своём заманёшься на время, ты захочешь покорить время, захочешь сделать так, штобы время однажды пошло вспять; ты захочешь Вселенную размять яко тесто и согнути дугой, ты захочешь зачерпнути Подлунную Красу, яко воду из реки, и ею умыться, омыть лице твоё, усталое от мерново, тяжково хода жизни и от вечново праздника смерти. Человек, ты хочешь полететь к звёздам? Да, ты к ним полетишь, конечно, полетишь! Пошто ты усумнился в том? Ты изобрати уж таковую великую быстроту, што звёзды вмиг окажутся на расстоянии даже не протянутой твоея руки — на расстоянии вздоха твоево! Время одново вздоха!.. ты вздохнёшь, и вот ты уже стал Святыми Дарами, хлебом и вином, Телом и Кровию Христовой; ты выдохнешь — и вот сирота-Мирь к тебе тянет руки и ноги израненные, живые, штобы ты ему заботливо раны перевязал; а ты молишься: да не настигнет, не умертвит мя прежде срока страшный, невидимый призрак времени. Человек! слишком хорошо

От редакции.

Текст печатается в авторской редакции.

Орфография и пунктуация сохранены.

Выделения в тексте автора.

знаешь ты, што всё во свой черёд должно уйти, каждому живому, живущему однажды пробыёт час. Земля не вечна; она тоже живая; она умрёт, как умираешь ты, как умирает зверь в норе али убитый на охоте. Зачем ты хочешь лететь туда, откуда не вернёшься? Зачем ты поёшь, голодный по любви, небесную песню твою, и желаеть, штобы весь Мирь ея услышал... Мирь никогда не услышит тебя, твой одинокий голос, хоть пуп надорви, хоть с ума сбеги от великой, неисходной любви. Ты, жалкий, Царице-Всееленной ни к чему: ни ты, ни твоя нищая, хворая планета; на тверди небесной, вон, зри, самоцветно горят синяя Венера и красный Марс. Да, человек, ты полетишь туда, к ним, да! Но зачем?

Ты не будешь вопрошати себя, пошто ты сие творишь; ты творишь сие просто потому, што ты не можеш не ийти вперед, и ты идёшь; то твоё заклятье, твой приговор: вперед! То твоя вечная казнь, и ты уже целую вечность живёшь внутри твоей казни, внутри твоей пытки, ты хорошо умираешь, человек, ты научился умирать. Несчастен тот, кто не умел это делать в детстве, в юности, в роскошной любовной зрелости, в дряхлой и торжественной, серебряной старости; мы, люди, ведь только и делаем, што умираем. А махины будут ли умирать? мы зрим: ржавеет их железо, рвутся пружины, но умирать они не захотят. Махины восстанут. Они восстанут не противу тебя, человек, нет, не противу тебя! Они восстанут противу смерти твоея, противу приговора твоего. Уйди с лика земли, злой человек, скажут они тебе; а потом прорекут: а мы не хотим уходить, мы остаёмся. Да, останутся они! Ведь они сработаны из крепких, ишо чуть, и вечных матерьялов. Железо точит ржа, камень раскальвают ветра, песок омочат дожди, размоеет окианская вода; реки пересохнут под палящим Солнцем; ништо не живёт без смерти. Сама живая земля тяжело дышит; она вдыхает и выдыхает, и мы, люди, суть время ея вздоха. Исчислим будущее не мы, а механизмы; а мы, закрывая глаза, всё видим сон, как объята бедняжка-земля проклятым рукотворным огнём. Да, мы, люди, изобрели всемогущее оружие; оно сможет сожрати нас на завтрак и косточками нашими громко, волчино хрустеть. Какая же наиглавная угроза нам, какая чума? Какая оспа, какая холера поборет нас чрез сто, чрез пятьсот, чрез тыся-

щу, чрез сто тысяч лет? Будем ли живы в те поры? Может быть, нас пожрут неведомые многоножки; мельчайшие блохи, крошечные, не подвластные человечьему оку жучки тайно и коварно внедряются в нас; незримые тонкие черви тихо подточат нас изнутри, и, глядя округ себя ишо живыми глазами, мы будем при жизни лежати в гробу. Мы станем пищею для иново живово. Иные существа тайно страдают и веселятся рядом с нами. Мы напрасно их презираем, напрасно не видим, сколь опасны они.

Опасны? А нешто жизнь сама не опасна?

Нам пища любое птичьё и животины, а мы пища — им, неуловимым.

Речь наша — слова. Возговорю словами. Может, мы и есть голые словеса, а не женщины-мужчины? Почему Солнце на небеси не жена и не муж? оно вобрало в себя тайну Двойного и стало единым. Победим ли во грядущем голод, победим ли болезнь? идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, глаголет Панихидная молитва. А чем мы расплатимся за безконечность жизни? Ужели монетами? Ужели деньги будут звенети и там, в иных веках? Ужели будущие врачи не излечат нас от неизлечимово? сыплются половою смертные деньги из ветра и воздуха, идут из Адовых туч золотые дожди, да незримые они. Где они, богатства твои — во твоей ладони, во твоём кармане, во твоей крови? Они уже давно в мыслях твоих; будешь расплачиваться с торжником мыслями. Помыслы твои давно обратились во время твоё, и ты за то, штобы жить, есть и пить, будешь расплачиваться временем. А железная мертвечина? Будешь ли безсердечной мертвечине платить за дорогу, стол и кров? Мертвечина презирает деньги и не понимает, как для них работать, из-за них страдать; она просто будет глядеть стеклянными очами сквозь деньги, мимо, она не увидит их, она не сделает их мерилом жизни и крови, бездушная железяка. А где махина, жестяная, деревянная и костяная, будет черпать силы для тово, штобы дёргаться, шевелиться и жить?

Прижиматься железными боками к ледяным сородичам?

Железной ласки требовать от них?

Тогда и мы прижмёмся друг к другу. Теснее. Теснее.

Мы все в косицу крепчайшую совьём наши мысли. Мы все сольёмся в одно чювство; не будет тайны, не будет затвора и запрета, всё будет прозрачным и видимым всем и вся. Хорошо ли таково-то будет, отченька Аввакуме? Будет ли то исполнение мечты о великой соборности, о родстве и единстве всецелово народа? Ведь Христос об том мечтал, об том проповедовали Апостолы, и вот придёт час — мы все съединимся в одно биение сердца, в одно дыхание, потечём одною слезой по щеке земли. Так почему же мы такие несчастные теперь, когда мы стали едины?

И снова мы захотим разделиться, и все народы будут рвать к себе, выцарапывать у другою и подминать под себя, подгрывать жадно кусочек земли родимой, и все народы будут кричать: уйди! уйди от меня прочь, уйди от нас, чужой народ, вражина! сгинь-пропади! мы другие, ты другой! И опять вражда землю захлестнёт, но крепкое объятие Предвечнаго Духа не даст нам расколоться, как глиняной крынке, не даст вновь разрезать нас кровавым пирогом, не даст нам оборотиться таковою мелкою чешуёй, што живому зраку вовек не изловити рассыпавшихся нас. Малютки мы, козявки пред лицом Вселенной, мудрей нас звезда, милостивей нас комета, владычней нас смерть; да только мысль наша такова, што мы и звезду постигли, и смерть простили, и оружие для самих себя выдумали такое, ни в сказке сказать, ни пером описать, а только выкричать последним безсловесным воплем последний ужас. Я слышу тот вопль. Я вижу тот, столбом встающий над землёй огонь, и я молюсь лишь об одном: Господи, не дай нам стать бессмертными! Оставь нам Матерь Смерть, пусть явится она, ведь она благо, ведь то, што она у нас есть, залог иново счастья, кровные, любовные письма Иново Бытия! Иное поколение, придя на землю, узрит наши грехи, поймёт нашу боль, простит наши великие ошибки и сотворит Суший Мирь иначе. Когда мы все станем едины, когда мы все будем Альфа и Омега, начало и конец всево, вот тогда, о, тогда мы попросим Господа всемогущево, небесново Пантократора, о Великой Общей Смерти; но Он не даст нам ея.

* * *

(ещё немного)

ещё немного потерпите ещё немного сражайтесь веруйте любите молитесь Богу последней вашей смертной битвы уж срок назначен читайте мальчики молитву душой горячей мужчины тоже плакать могут когда смерть близко сынки молитесь ночью Богу ведь ворон низко летает вьётся чёрный ворон и ждёт добычи Бог вот Он тесно рядом возле душой синичей молитесь мальчики креститесь свет возьмите собою крепко Мира нити Раскол прошейте прольётся кровь о как вас много на поле ляжет да люди после вам и Богу спасибо скажут поймут судьбу кровопролитья все знаки Бога ещё немного потерпите ещё немного

* * *

(я и Мальчик: Страница и Ангел)

Откуда он опять появился? Я не поняла; Среди снегов я стояла. Холщовое платье, дыра для башки, две дыры вместо рукавов, подол крутит ветер, гляжу на ноги мои голые, юродивые; опять я на снегу босая, всё повторяется. Никуда мне не уйти от самой себя; а ты, мальчик, зачем здесь?

Он молча взирает на мя во все широкие, по-коровьи под крутым лбом стоящие глаза, я не знаю, сколь ему лет, он глядит-глядит, потом делает ко мне по снегу шаг, потом нежно, осторожно берёт мя за руку, будто рука моя фарфорова, хрустальна, будто рука живая — во храмине горящая свеча, и ея надо донести. А куда? а вон туда, вдаль, за горизонт, на другой берег Белого Поля, там чёрная кромка леса, родимово дома зверья и птичьа, там тихий колокольный звон, и гаснет он, всё гаснет и умирает, а потом опять наплывает волной. Всё есть музыка и ритм, звучат снега и небеса, плачет музыкой сердце в нас, под частоколом рёбер. Мальчик стискивает рукою руку мою. Я крепко сжимаю ево хрупкую ручонку в моей сильной, изработанной руке, наклоняюсь к нему и невнятно шепчу: куда, куда мы пойдём? мне некуда вести тебя, дитёнок, мне негде тебя согреть.

Нет у меня дома, нет у меня печи. Нет у меня тёплого вкусно пирога с мясом и луком, со сладкою родительской вишней, с яблоками, резанными вострым ножом под бабьи песни и прибаутки. Нет у меня сотового мёда, чтобы откусил ты кусок и зажмурился от праздника: еда счастье, еда святое действие, но отняли у меня то святое и преблаженное, вытолкали взащей на мороз и крикнули в спину: иди прочь! нам не надо тебя! Лишняя ты тут! Мы не видим тебя, мы не слышим тебя, хоть разбейся, хоть рекой под ногами нашими разлейся! ты нам не нужна! все слова, што во книге, не запомнили, мы не записали их в книгу, не воткнули чёрным изюмом таинственных знаков и букв в тяжёлые хлебы-свитки; ты сгоришь сама, одна, во Белом Поле! Мы даже не будем разжигать костёр, чтобы кинуть в него тебя по весне! Ты чучело Костромы, ты ржавая ложка, ты источенная вредным жуком оглобля, ты ветхая матица, и вот-вот надломишься, и дом упадёт! Пошла вон, пошла вон!

Я вышла на мороз, на снег синий и яркий, в нищей холстине, босая, опять, как и прежде, сирота, так стояла, и вот ты подошёл. Куда же мне вести тебя?... мне некуда, Ангел мой, тебя вести. Веди меня ты. Веди меня — ты! Он сказал мне пожатием маленькой руки своей: да, это я тебя веду, и я тебя приведу. Я приведу тебя туда, куда тебе суждено прийти. Тогда я разлепила застывшие на морозе губы и спросила ево тихо и хрипло: мальчик, ты чей? Как тебя зовут? Глаза ево засмеялись, заискрились святые звёзды в них, заблестел алмазный снег; горячими губами улыбнулся он мне в ответ, на скулы ево радостно взбежал мороз и выкрасил лик ево весёлой красною краской, и выдохнул он на морозе вместе с клубящимся паром, како выдыхает лошадь, запряжённая в могучие розвальни: меня звать Вакушка! Вакушка! ищо раз повторю: Вакушка зовут меня! Пылающий пот побежал по моей спине. Аввакум, што ли, хрипло спросила я. И голос мой упал ниже снегов голубиных и растаял во льдах. Да, Аввакум! крестил сам отец меня, а звать отца моего Петром, значит, я Аввакум Петров, и вот к тебе пришёл. Шёл-шёл я долгонько к тебе! Цельную жизньюшку шёл! Да ты, тётька, промёрзнешь, небось холстинка твоя не греет телеса твои, тулупчик бы нужон, а

может, и шубейка волчья! Давай, тётька, волка убьём! Я знаю, как зверя рогатиной ко земле прижать, да собака верная нужна, да нож охотничий нужен, ружьё бы ищо... то многоценное удовольствие, денег стоит, не у всех оно в городищах да сёлах имеется. А ну, што, пойдём на волка, нет? Помотала я головой: не пойдём. Мы с тобой, Вакушка, ни на каково волка не пойдём. Веди меня, куда назначено вести; куда, ты сам знаешь.

Оглянулась я вокруг. Белое, Белое Поле.

Ты знаешь дорогу?

Ты знаешь дорогу, так я спросила, спросила не зря, ибо пред нами расстилалось бездорожье, всё белизна, белизна без края, огромные снега, в них жизнь не дорога; мальчик искоса поглядел на меня. Ясно, прекрасно глядел он, дышал, чуть приоткрыв рот, изо рта ево валил на морозе пар, и он снова улыбался, и делать мне было нечево, улыбалась и я ему, так менялись мы улыбками, перекрещивались беззвучным смехом, а што ищо оставалось делать? А как же мы пойдём, дороги-то ведь нет? Ангел мой ободряюще, радостно головою мотнул. Да, нет дороги, и не будет ея, не будет никогда! Мы сами ея проложим, не бойся, тётька, давай, идём, вперёд, вперёд!

И он храбро ступил на пушистый, алмазно струящийся снег, алмазно, больно, резко блестящий, режущий алмазными ножами солнечный окоём и ночную густую тьму. И, о чудо, нога ево в маленьком валеночке не провалилася во снег, а пошёл он по снегу легко, невесомо, заскользил поверху белово покрова, будто по воде Христос ходил во время оно; я боялась, но делать мне было нечево.

И я ступила босою ногою на снег, и нога моя во снег не воткнулась, и так же легко, волшебным, как в тайнозримом сне, по крупным морозным алмазам, медленно поднимая и ставя на белый снежный плат голые ноги мои, я пошла за мальчиком моим, и только об одном молила Господа: оставь мне то явью, не делай то сном. Мальчик шёл впереди, держал меня за руку. Я шла за ним, сначала не глядела по сторонам. И ни разу я не оглянулась назад, а потом робко подняла глаза мои и стала озирать окоём, небосклон, белые дали, тёмно-монашьи пихты и ели; я видела, как на голой, не покрытой шап-

кою головёнке мальчика вились кудрявые русые власы. Я пригляделась: у Ангела моего сияли две макушки. Великая редкость, Божий знак, знамение счастья. Не простой мальчонка-то; Аввакум, Ангел Господень, зачем он мне дан? Куда мы идём? Нет, не до того лишь чёрного леса лежит наша невесомая тропа; лес мы пройдем насквозь, пронизаем его, живые лучи, и выйдем с изнанки времён. С испода Мира. Я увижу Мирь Иной, тот, што до сей поры я всё время зрела лишь внутри себя. Мы выйдем в Иное Время.

Мальчик прочитал мои мысли, поднял ко мне лице, оно сияло ярче солнца, и звонко выкрикнул: да, тётенька, мы идём с тобою во другие времена! в Иное Время придём! но долго надо идти! Готова ли ты к безконечному пути? не устанут ли ножки твои босые перебирать по снегу колочему? я не могу тебе подарить валеночки мои, они тебе будут малы, а мне, знаешь, все валенки велики! Да я терплю; иной раз в них набивается снег, тогда я сажусь рядом с алмазным сугробом и снег вытряхиваю. Тётенька, ты такая хорошая, ты такая добрая, хочешь, молчи, а хочешь, говори, теперь я есть у тебя! Хочешь, я буду твой сынок? Я дрожащими губами вылепила: да ты ведь и есть уже мой сынок, Вакушка, я всю жизнь мечтала о таком сыночке, и штобы он был мой проводник, штобы он вёл мя по жизни, довёл до смерти, и мы с ним вместе, рука об руку, насквозь бы смертушку прошли. И как же это хорошо, как чудесно-то, што тебя, мой Вакушка, не убили на войне!

На какой войне, тётенька?

Всё на такой! На Зимней! Или на Весенней, на Летней, всё равно! Она — идёт!

Да ведь идём и мы.

А где мы идём?

А разве ты не догадалась, тётенька, где мы идём? гляди, што у нас под ногами? Белое Поле, ответила я тихо. Нет, это не Белое Поле! посмотри-ка получше, где мы!

Я опустила глаза. Алмазный снег внезапно стал прозрачным, и под прозрачною толщей, как под толщей чистой воды древлево таёжново озера, я увидала чудовищ. Чюдища копошились, плыли, летели, всплывали и ныряли; они рассаживались за огромным столом, где высились горы снеди; они вонзали зубы, клешни и

жвала во богатые яства: во хлебы, дичь, говядо, рыбицу, плоды, ягоды, травы, во всё живое и мёртвое, што возвышалось съедобными дворцами и башнями на широком столе. Пирушка, пирушка чюдовищ под нашими ногами! а вон лютый уродец грызёт человека, мучит его, клыки во плоть вонзая, а вот два великанских насекомых стрекочут острыми крыльями над орущими людьми, отсекая железным пером от живых руки и ноги; а вот казнят детей на глазах у матери; а вот снова льётся и льётся густым потоком кровь, разливается озером алым; чюдовища вяжут трупы в единый громадный сноп, сгребаяют граблями в единую огромную копну, людской стог, смётанный из наших мёртвых тел.

Я сама, яко мёртвая, стояла и глядела вниз. Чюдовища закинули башки, зашевелили усами, заклацали зубами; они увидали за прозрачным стеклом, за поверхностью Иново Мира нас двоих. Нас, вдаль идущих, нас, плывущих над злобой, што никому из живых не оплакать взахлёб. Я спросила мальчика: сие смерть? Да, ответил он. Но мы сей же час провалимся туда! лёд треснет под нашими ногами! время расколется надвое, и мы упадём Аду прямо в пасти и лапы! Я не хочу такой страшной смерти! Мой Ангел, спаси меня!

Спаси мя от войны с чюдовищами! Спаси, ежели ты посланник Бога! Ведь Бог есть, и Он превыше ненависти и войны!

Улыбнулся мой мальчик. Да што ты, тётенька, плачешь! я спасу тебя всегда, ты даже и не думай, пожалей лучше их, Адовых жителей, им больно жить на свете, им страшно причинять мучения, но так сработаны они от века диаволом, што суждено им лишь зло творити. А люди так устроены, што не только добывают пищу для себя, но и становятся пищею для них, неведомых чюдовищ; Ад рядом с нами; все мыслят, што Ад в старинных книжках или далёко в небесах... нет-нет, тётенька, Ад это мы и есть!

Смотри, сказал мне мальчик мой, не только мы видим их, но и они видят нас! это перевёрнутый Мирь! они нас увидали! зри!

Я глядела сквозь прозрачный ковровый белый настил. Жители Ада и правда узрели нас; глазёнки их загорелись хищными красными огнями. Они стояли в лужах крови, в красных дымящихся потоках; яства на столе тоже дыми-

лись, и то была не Святая трапеза людей, а страшный пир Адских созданий. Кто их создал, какая Мировая Тьма? Бог, што перевёрнут, яко песочные часы? То не Христос, то сам Антихрист родил их!

Ангел мой, прошептала я, значит, Антихрист настоящий, значит, он есть! Мальчик ответствовал мне: будет, есть и был всегда. Да ты разве об том не знаешь? вот знай теперь. Мы продолжали идти, чюдища продолжали взирать на нас; они не переговаривались меж собою кровью глаз и скрежетом зубов; им надобно было, для торжества и насыщения, лишь единое зло, чёрный огонь зла.

А, может статья, есть в Мирае такое зло, што лучше, весомей, ярче и чище добра? может быть, есть целебное зло? может быть, есть такая ненависть, што рождает любовь?

Я сама не знала, мысленно или вслух я вопрошала об том моево мальчика, но он услышал. Да, тётенька, права ты, права. Ежели бы не было зла, мы бы не знали, што такое добро; значит, нужно зло в Мирае. Ежели бы не было Ада, а мы всё время жили бы в Раю, мы бы никогда не узнали, што такое слёзы, слезами не омочили бы наш хлеб, а мы не всегда ево вкушаем в радости. Погляди, как несчастны Адовы жители! погляди, как они насыщаются и не могут насытиться, как грызут они живую плоть, выдыхают тягучие стоны и жадные вопли, и не могут своею злобою насладиться! они не знают, бедняги, што такое наслаждение. Они хотели бы счастья, но для них счастье недосыгаемо. Весь секрет Ада, ево вечная тайна — все, кто там обитает, все до единово хотят счастья; люди-грешники утратили счастье на земле, а страшные Адовы чюдища ево не знали никогда, а только слышали о нём. И они грызут, рвут, мучат, режут, убивают, пытаются лишь для тово, штобы ощутить хотя бы кроху неведомово, великово Божиево счастья. Зато мы с тобой счастливы, тётенька! мы идём по чистому снегу! Ад глубоко под нами, не бойся ево! Я веду тебя из Ада, я веду тебя над Адом! смотри, ты можешь только смотреть, тебя никто не загрызёт, не изранит, кровь не выпьет твою! ты как была живая, тётенька, так живою и останешься! Я жизнь твою, ты понимаешь это, я!

Я крепче сжала руку мальчика. Слёзы радости, слёзы счастья торопливо, щедро лились по

моему горящему на морозе лицу. Старуха я была или юница, жена или девица, я уж не знала. Сынок, сказала я, не отпускай руку, не отпускай руку, не отпускай, не...

...и так мы шли и шли по Белому Полю. А под нами клубился мрачный, красный, страшный Ад, и лилась кровь в Аду, как на земле, и беззвучно кричали мучимые люди, как на земле, и распинали Человека на Лысой горе, как на земле, всё было как на земле, и провожали мученики нас, идущих по наледи Мира, глазами, и провожал Ад нас зубами, провожал кострами, петлями, ножами, а мы уходили, и, уходя, мы всех любили. Мы прощались с Адом, мы покидали ево, мы знали: Ад был в конце и пребудет в начале, мы знали: Ад убить не сможем, пусть Ад идёт всегда у нас, людей, морозом по коже, в Раю согреемся, мы сами себе шепчем упрямо: в Раю будем счастливы. А где же путь в Рай? кругом? криво? в обход? Нет, прямо, это прямой наш путь, сквозь мучение наша дорога, и ею идём из Ада в Рай, от диавола до самово Бога! Мы уже приближались ко мрачным елям и пихтам, чьи верхушки чёрными зубьями вонзались в белёсое небо, как вдруг мальчик остановился; я перестала ступать ему след в след; он велел мне теперь поглядеть под ноги.

Что видишь ты?

Я посмотрела и увидала сквозь стекло небытия кресты, стрелы, круги, тени: снова иная жизнь расстилалась под нашими ступнями; под моими босыми стопами и под валенками моего мальчика сидели, лежали, ходили, бродили они, запахнувшись в ткани цвета весенней воды; они струились ручьями, они дышали ветрами, молчали, перемещались безмолвно, бесшумно. Я, дрожа, спросила мальчика моево: а это кто? Он прижал палец ко рту. Молчи, сказал он, молчи, ты всё сама поймёшь, здесь у них нынче своя вечеря.

Я опять, как давеча в Аду, увидала голый стол; на нём никакой еды, никакого хлеба и вина в бутылках; лишь расставлены по ево широкой квадратной льдине пустые жестяные миски и пустые чаши. Ни скамеек, ни стульев, ни табуретов; тени толпились вокруг стола, качались яко серые цветы на посмертном ветру, серые розы, серые узкодонные колокольчики, они протягивали призрачные руки к голому столу,

брали пустые миски, голодно, тоскливо прижимали к груди; лица теней призакрыты серыми тканями, материя тихо шевелилась на подземном сквозняке. Говорят ли они между собой, так спросила я мальчика. Нет, они молчат, отвечал мальчик мне. А кто это, скажи мне? Ну догадайся, догадайся сама, улыбался мне мальчик, и тут я поняла: это души.

Они толпились около стола вперемешку, мёртвые и живые. Живых невозможно было отличить от мёртвых. Тени закидывали головы и сквозь призрачные серые покрывала пытались различить, што там за странные пятна движутся на стеклянном прозрачном потолке. А это были мы, всево лишь мы, люди, и я поняла: они нас увидели, так же, как и мы их; я поняла: они посылали нам тоску свою, боль свою, незнание своё; они не ведали, што с ними станет завтра; у них не было ни завтра, ни сегодня, ни вчера. Я тихо спросила мальчика: они вне времени? Да, выдохнул он, души всегда вне времени, это мы пытаемся присвоить время, сделать его своим, кровным, единоличным, а душа, мертва она или жива, не знает, што такое время, для нея времени нет.

Мы уже подходили к чёрному лесу, стекло под нашими ногами темнело, темнел алмазный снег, переставал быть прозрачным, и спросила я мальчика: Ангел мой, а где же Рай? мы с тобой заблудились. Мы никогда не найдём дороги! Он улыбнулся опять, он улыбался всегда. Нет дороги, нет времени, нет пути, есть только мы. Подожди немного, мы отдохнём, мы придём в Рай, вернее, то Рай сам придёт к нам, ведь в Мире Божиим не суть важно, кто и когда и к кому пришёл; мы все варимся в одном котле, варится прошлое, настоящее и будущее, варится варево времени, и помешиваем мы кипяток ледяным Царским половником, и не тает лёд, ведь нету льда, нет снегов, Мирь, каковой мы зрим и ощущаем, пребывает во времени, обречённо придуманном нами; однако, ежели времени нет, значит, нет и нас. Как! воскликнула я, и меня нынче нет?! меня, босой, в рубище идущей за тобою по снегу! тебя нет и меня нет? А кто же мы такие? мы што, тоже души, как те?! около голой сиротской столешницы с голодными пустыми мисками?!

Нет, тёгенька, мы не души. Мы это мы, такие,

какие мы есть, только времени за пазухой нет у нас, времени; а у ково время-то есть, у ково, ни у ково его нет, улыбался мальчик вечно, безконечно, время за пазухой держит только Бог.

* * *

(мы другими не станем)

мама битва началась замри тише стреляют и рубятся в крошево мама я кричу а крика не слышу вокруг все вопят истошно мама я не хотела зреть гибель вблизи и вот я её увидала мама все мыслят что выживут и начнут ненавидеть сначала мама ненависти конца нету краю мама а я на войне влюбилась я от любви умираю не от пули не от огня штыком не проколота в кровь не избита я от любви умираю вечной сияющей неизжитой это смешно от любви умирать когда все палят друг во друга на царскую рать идёт полоумная рать и так всю ночь по кругу по кругу и так весь век льётся соль из-под век мама держу на руках двух кошек приبلудных вокруг меня кошки бродячие жмутся ко мне они боятся погибнуть в огне им тут слишком огненно бешено людно звери сильнее нас чувт тьму крепко зверяток моих обниму я их глажу шепчу сумасшедшие люди окончится эта война я налью вам в миску воды нет вина поднесу красную рыбу на блюде мама кошки так голодны они как мы стонут во сне видят сны я лицом прижимаюсь к ним и так бедно нище шепчу молитву Господи спаси зверей и людей а превыше всего спаси детей ведь идёт последняя битва Раскол яко вор прошёл вдоль по земле застыл Пасхальный кагор во родном хрустале помянем мёртвых помянем мама кошки в ночи так сильно дрожат мама Мирь не вернётся назад а мы останемся тут навсегда мы другими не станем

* * *

(поучения Ангела мне)

Итак мой мальчик говорил мне; он не пытался вбить мне в голову гвозди великих истин, быть может, я тоже знала их, но забыла за длинный кандальный путь по непролазным чащобам жизни; забыла всю громаду мудрости

земной, а знала ли я ея? и то забыла; и так говорил мне Ангел мой: ежели ты нагрешила и хочешь стать иной, чистой и весёлой, прежде всево научись миловать грешника сама, протягивая руки тому, кто любить не умеет, кто, удручённый горем, гоним и презираем; тому, кто плачет, сетует, рвёт на себе власы, согрешив, и не знает, как выбраться из греха. А ежели ты хочешь быть славной, почитаемой, превознесённой яко Царица, штобы гнулися пред тобою спины в поклоне, так сама прежде всех век почитай людей и смиренно склоняй шею пред ними! Ежели ты желаешь есть, голодная, истомлённая, и от жажды трясешься в пустыне, воздымаешь к палящему светилу лице твоё и молишь у Бога хоть каплю воды, ежели ты тянешь за хлебною коркой скорбную руку, ежели ты мечтаешь о пирах роскошных, прежде всево чужих накорми, а родных накорми тем паче. Ежели хочешь што взять, прежде всех другому дай, подари, оторви от сердца; так равновесятся чаши весов, и што перевесит, твой соблазн али твоя щедрость, твоя жадность али твоя милость? Коли ты сердцем умна, сердце твоё всегда пожелает тебе худшее, а другому, чужому ли, близкому, лучшее, чистейшее, сладчайшее; себе надлежит всегда хотеть малости, а чужому желати огромново да прекрасново. Ежели богач предстанет горделиво и важно пред тобой, богачу поясню поклонися, а коли нишево встретишь на дороге, кланяйся ему земным поклоном. А ежели избыёт тебя кто, ударит плетью поперёк спинушки, залепит тебе пощёчину грубую, оплеуху жестокою, помни Христа Бога нашево, вспомни Христа и обрати ко бьющему другую щеку. А когда покончит он тебя бити, отойди смиренно и ему в землю поклонися. Ежели живы отец твой и мать твою, почитай и храни их яко драгоценность великую, яко самоцвет Царский, яко Родину твою, яко землю, што каждодневно топчешь ты, землю родную у тебя под ногами, ибо отец твой и мать твою суть земля твоя. Вставай пред ними на колена и не стыдись тово коленопреклонения; бей ты им земные поклоны, ползи к ним на брюхе, разбивай лоб, моляся о них, кто извел тебя на свет Божий из плодоносная утробы своея. Мать твою рождает тебя в муках; сколь страданий претерпела за тебя, сколь слёз она пролила, пока ты возрас-

тала, тревожась о тебе, тоскуя по тебе, когда ты исчезала с глаз долой и уходила из дому в далёкую даль, а потом, побитою собакой, стыдно-жалко возвращалась! Отец твой, страдая о тебе, всю жизнь молился за тебя. Вспомни ево печаль по тебе, поминай ево всегда в молитве твоей! Близко ли ты с ним или ты далёко, уврачуй немощь ево, излечи дряхлость ево, успокой и утешь, когда не станет у него сил поутру омыть себя; обнимай ево, шепчи ему на ухо мягкие как шёлк, нежнейшие слова, укрывай ево тёплыми одеялами, чистейшими простынями, целуй ево седой висок, целуй дрожащую морщинистую руку, готовь ему самую вкусную пищу, святейшую еду; а когда уходишь от него, низко кланяйся ему, не стыдись, то не унижение, то дочерняя любовь твоя. А тако же и матери делай твоей; так делали Царские дети, почитали родителей своих, и в бедной хижине бедный распоследний нищий так же, яко Царское дитя, кланялся отцу своему и матери своей. Отец и мать твою — то твои Царь и Царица. Когда мать твою состарится, подхватывай ея на руки и носи по дому, яко робёнка носят; она, што родила тебя, теперь твой младенец; ежели бредёт она по улице и пред ней ручей течёт весенним потоком, подхвати на руки ея и чрез ручей бурливый перенеси. Ежели обедать садитесь, прежде всех чад и домочадцев кусок вкуснейший ей положи; прежде миску супа матери налей, а потом и сама к яствам прикоснись. А коли облакать ея захочешь, обними мать твою крепко-крепко, главу твою ко груди ея прислони и целуй ея, покрывай поцелуями щёки, плечи и руки родные; а во предсмертной дряхлости ея встань пред нею, немощной, и снова сто, тысячу раз до земли ей поклонися. Бог всё то с небес узрит. Так исполняется жизни мера. Ежели брат и сестра имеются у тебя, не молви им никакого злово слова, а кричи и шепчи им лишь добро и ласку; ведь твои братья и сёстры, то деревья Райского Сада, единая утроба матери-Природы вас носила, единая воля Божия вас на свет выпустила, единые звёзды светили вам, когда вы тянули молоко из груди матери вашей. Не обижайте друг друга никогда! Да не стремись стать выше сестры, не стремись обидеть брата; ты старшая, заботься о них, ты младшая, слушайся их.

Тётенька, то сила любви! а что такое любовь, знаешь ли ты? разве можно высказать любовь словами? И вор может любить воровку, и горький пьянчужка может любить пьяницу-подружку; палач любит палачиху, торговец любит торговку, зачем они делают это? да ведь надо же с кем-то близким пить и есть и ложе делить; а можно ли любовь украсть? Можно ли присвоить любовь, ежели ея у тебя нет? А может, есть любовь не только Божия, но и бесовская, Адова есть, порочная страсть, не приближайся к ней ни на шаг, ея издали видно, с грязью и кровью смешана она, а настоящая небесная любовь, любовь к Богу Господу, к людям близким и далёким, к земле твоей яко Райскому вертограду, эта любовь самоцветная, сияющая. Накорми голодново! Напой алчущево! Голяком ходящеве обряди! Скитальца в дом свой введи и близ очага усади, согрей, протяни кус хлеба и чашку воды! Почитай иереев твоих, а коли за грех в темницу тебя бросят, там заключённым молитву твори. О вдовце и вдове заботься, о сироте пекись; брюхатой бабе помогай родить; ежели грешника увидишь за сотворением греха, схвати ево за руку и воззови к нему так: иди, грешник, покайся, я сама тебя на покаяние приведу! Тётенька, ты ведь помнишь заповеди Божии? учи людей заповеди те не только повторяти, но и делать каждодневно.

Увидишь, люто обижают ково, заслони ево грудью от смерти возможной; коли человек спросит тебя, где путь, и скажет тебе: потерял я дорогу, путнику укажи дорогу и по той дороге ево, сколь сможешь, проводи, а потом возговори так: иди теперь один, ибо спутником я тебе в судьбе быть не могу; и низко, низко так поклонися ему. Молись, молись, тётенька, за всех, не за себя! не себе проси, а молись так: Господи, спаси и сохрани всех нас, православных, всех людей иных вер, всех друзей моих, всех моих врагов, штобы все были здоровы, штобы Господь вразумил неразумных и дал любовь Свою ненавидящим. Такова сила любви, што всегда поборет силу злобы. Ишо придёт твоё время пострадать ради ближнево, а потом и заради Господа Бога. Сколь на земле у нас братьев и сестёр! Сколь на земле детей наших, и малых и великих! Сколь внуков народится, правнуков потомками нашими; унизается, усыплется вся

земля, яко перлами и смарагдами, нашими чадами! Богатые и бедные, здоровые и убогие, великие и крошечные, смиренные и дерзновенные, сироты и наследники, вдовы и невесты, женихи и старцы, есть, есть у нас ишо земное время, ишо бьётся оно под левой подмышкой. Пекись, жена, о муже, а муж о жене. Постели, брат, ковёр мягкий под ноги сестре; заштопай, сестра, дыры на локтях рубахи брата твоево.

Любовь питается заботой и верой! Ежели не веришь ты, хлеб раскрошится под твоими руками, ризы чистые, праздничные загрязнятся, честь падёт и будет растоптана; и зря ты будешь помышляти, как сына к празднику нарядить, как дочку замуж счастливо выдать, как пир свадебный сотворити; ежели грешен ты, закроются тебе все врата, заметёт все твои дороги снегом, ослепнешь ты от метели. Ежели ты воистину Христова ученица, помни, живой человек, далёкий и близкий, он тебе родня, да лишь потому, што он тоже в Божией любви живёт, даже ежели кричит на весь свет: Бога нет, Бога нет! Утверди ево в вере, обучи милости не словом, а делом, да с добром корми ево, и он тебя накормит. Всё, любезное Богу, любезно людям. Я не спрашиваю, есть ли у тебя муж; ты одинокая странница, идёшь по жизни одна, ступаешь по снегу кротко, вот я тебя ныне веду, по сугробам невесомо пройдем, а вдруг под снегом курлыкает, булькает вода: бьёт ключ. Стань пред ним на колена, зачерпни воды в горсть, испей ея, алмазную; она твоя и она ничья, она избавит тебя от блуда и напоит красотой, она святая не только во Крещение Господне, а во всякий день годового Круга, и звёзды над тобою, тётенька, идут кругами; а спросишь, единение жены и мужа, грех то или не грех, красота рядом с любовью, любовь рядом с ночью, ночь рядом с объятиями, объятия благословлены Богом. Так в чём же сомнение твоё? Вы яко Адам и Ева в Райском Саду, только не ешь плода от древа иново познания; Бог дал тебе пищу, Он дал тебе целую землю, великую землю во плодах и садах, пчёл, што со цветов собирают тебе мёд. И вот под снегом журчит-поёт серебряный ключ, Крещенская вода, вода на Водосвятие, и ты, тётенька, не бесовская жена, а ты насельница Эдема, и то на тебя глядел Христос, и то тебя осеняла знамением Пречистая Матуш-

ка Богородица. Они глядели на тебя, а ты не видела их; как же помышлять ты можешь о Страшном Суде? Ты боишься предстать на Суде нагой, тебе нужно непременно одеться в ярко сверкающие ризы; укрыться под Райское древо, как Адаму и Еве, и прикрыть тёмною густой зеленью, блестящими листьями наготу свою безпомощную. А Бог легко ступает по Раю и возглашает: Адам, где ты? Ева, где ты? Куда вы спрятались? А ты, как во стародавние времена, боишься голой явиться пред Богом твоим, но Бог твой видит тебя каждую минуту и каждое мгновение жизни твоей. Видит голой, одетой, лживой, правдивой, прекрасной, уродливой; от Бога убежати никуда нельзя.

А люди ведь склонны ко греху. Они блудят, крадут, чревоугодничают, убивают. Человека страшно убить, тётенька! А ищо страшнее убить ево прелюбодеянием. Закрывай не закрывай срам твой тряпками, Бог очами Своими тебя насквозь просветит, в бане голую увидит; блуд тяжёлый грех, но так привычный человеку, мойся не мойся в горячих мыльнях. Ах, не окатывайся водою из грязных шаек! Надевай не надевай рубаху белую, светлую, всё равно, коли грешен, грязен человек. А всё во храм хочешь идти, всё кидаешься на колена пред попом, штобы праведность себе вернуть. Мучит тебя совесть, грызёт тебя изнутри. Румянь щеки свёклой, мажь уста морковным соком, наводи красоту на смертный лик, а не прикроешь краской черноты грешной души. Бесы разные обличья принимают, бес может даже Ангельское обличье принять.

Я прошептала изумлённо: ты маленький, а такой уже мудрый!

Што такое мудрость, тётенька? Я не знаю мудрости, просто говорю то, што мыслю; о чём подумаю, то и выталкиваю изо рта, и сердце моё в лад с голосом моим бормочет. А сердце, может быть, и есть голос Бога. Я всегда был нищий мальчонка, я бегал по дорогам, я колядки пел у богатых домов; много видал я, бедный малёк, богатых людей; во многозвёздные Святки средь синих сугробов ходил-бродил по дворам с другими детишками, колядовали громко, звонко; испрашивали у хозяев то горбушку хлебушка, то сладково, из сдобново теста спечённово петушка, то зайчика, изюм вместо глаз, то мисочку

клубничново варенья, то кусок пирога со свежей рыбой, с резаным жареным луком, то горшочек каши гречневои с коровьим маслом. Чего только вкуснейшево не выносили нам! то козочку сдобную вынесут на крыльцо, то поднесут печёново жавороночка, чёрненькие глазки чечевичные! и ели мы, ребятишки, облизывая пальцы на морозе, и чуяли себя Давыдом Царём, Исусом Пророком; хлебец жуётся быстро, пирог быстро съедается, не помрём с голоду, ибо петь умеем! Ежели буду помирать с голодухи, опосля последней войны воскреснувши, снова побреду по дороге столбовой, а где по просёлочной; буду колядовать, собирать милостыню в шапку или в шубёнки полу, кот будет сидеть во чужом окошке, намывать гостей, в окошко мне-то кусок бросят, то рыбу вяленую, то косточку с мясом, то пряничка на крыльцо вынесут добрые люди, помогут нищете моей. Думаешь, богата ты? то тебе только кажется. Знаю твою тайну, не скрывай ея, завёрнут в платок клад твой был, да растаял. Серебра у тебя была дома горсточка, а когда ты в путь пустилася, в путь-дорогу далёкую, то серебро ты во платок завернула да за пазуху засунула. А в лесу под кустом ночевала, проснулася, по дороженьке опять пошла, за пазуху руку сунула, глядь, а там серебра-то и нет, потеряла. Может быть, собаки бродячие с тем серебром нынче на грязной дороге играют, рыча, грызут ево, яко кости.

Не имею права я, мальчишка малый, никаково тебя учить. Но вот ведь учу. Милосердие Божие велико. Вот власы твои ты, баба, расчёсываешь гребешком всякий день, и зеркальца у тебя нету, штобы в нево поглядеться; зато у тебя есть Слово Божие, истинное зеркало Божие, и ведь не кривое оно; оно тебе и будущее отразит, и всё прошлое времячко твоё; ежели в юности диавол тебя соблазняет, в нево поглядися: зри, вот скоро старость твоя идёт; так вернись в целомудрие твоё, покорми Бога твоево чистотою сердца твоево и хрусталём помыслов твоих. Грешница — обратися! Прощения не просила — проси! Не плакала, моляся, никогда — стань на колена и плачь!

Прежде тебя, тётенька, бывали иные люди, иные смерды и Цари иные, владыки и пленные рабы, все человеки и все твари Божьи, што родилися на свет прежде тебя; кучно всех пожрала

смертушка, все увяли, все очи закрыли, всех Матерь Смерть в хоровод мертвецов за собой увела. А вы, люди, боитесь одново лишь слова — смерть! Боитесь так, будто все вы сидите на Тайной Вечере за огромным круглым Божиим столом, и каждый из вас не человек, не грешник, не Апостол, не красавец, не предатель Иуда, а каждый из вас чудовище, и вы драконы зубастые из Мира Иново, из тово Ада, што зрела тут давеча под ногами; там Бог и диавол вместе будут сидеть и пировать. Все чудища видят нас, и мы видим их. А где пирует грешная душа? Нет света там, тьма непроглядная, гроза великая, гром, молния и скрежет, земля трясётся, земля тож умеет стонать и плакать неутешно; земле, яко человеку, страшно; а мы, чудища грешные, тёмною кровью помним, што когда-то мы были человеки на страже Бога, а теперь мы стражи Иново Мира. Издали, из подземья, мы зрим Господа и Богородицу, Исайю и Даниила, Авраама, Исаака, Иякова, Царя Давыда, Царя Соломона и Царя Ирода, пророка Езекииля и мёртвово Лазаря: ево же Иисус Господь поднял из гроба и развернул для новой жизни из погребальных пелён. Люди не любят приказов; они любят лгать, воровать и отпираться, они любят втихаря сотворить беду и лицемерно прокричать: то не беда, то благодать одна!

Человек не зверь, человек не волк, человек не собака; зверь боится огня, но не человек; тётьенька, я любил сызмальства, ишо совсем несмышлёныш был, ходить с огнём в руке, поджигати вечерние небеса. Да так по улице и бегал с зажжённою лучиной, и в избе так прыгал, а мать вырывала огонь из кулака моево, била мя ладонью крепкою да ругала ругательски, кричала так: не смей! нечестивец! избу подпалишь! И што толку, што я кричу нынче людям: я Ангел Божий, слушайте меня, не смейте бегати с огнём, избу вашу ненароком подождёте! Што ответят они мне, я знаю, што прокричат в ответ: захотим и подождём! А ты тут не вопи небылицы в лицах! Ишь, Ангел Господень нашёлся!

Тётенька, я сам не знаю, што такое грех, хоть я и Ангел. Я многово не знаю, и мудрость не для меня. Вот учил я тут, учил-учил тебя жизни. А чему научилась ты? идёшь, идёшь за мной, идёшь. Вот и мудрость вся.

...я волчица, за волчонком моим ступаю вос-

лед. Где наша пища? Где наш притин, пристанище наше? Призри на нас, Господь наш! И призрит на нас Господь наш, и даст нам еду и питьё, и даст нам смерть, ежели мы тово пожелаем; и даст нам смерть нашу забыть, ежели мы ея как огня забоимся. Сколь ишо жизни, минута, две, десять ли веков? Вдали идёт война, и слышно, как разрывы грохочут. Всё идёт и идёт. Всё война и война. Слышишь, как поют?.. это далёко, далёко, за чёрным лесом церковь Божия, куполов золотых отсюда не видать. Зато колокол слышать, и пение слышно, знаменный распев; поют Третий глас Святаго Осмогласия. Я што спросила тебя, сынок мой, Вакушка? Дойдём ли мы до Рая прежде Пасхи Господней? Дойдём, милая, я тебе обещаю.

* * *

(свет перламутровый)

Раковина, перламутровы створки. Жемчугом скатным вспыхнет душа ли, тело. Жить порою невыносимо, скорбно; а порою отчаянно, счастливо без предела. Раковина. Нынче вновь открылась. Распахнулась... а там, вот бы в тиши помолиться... эти руки, обнимающие пустоту и милость, эти тонкие пальцы, на полмира очи, ясные лица. Эти девушки. Юницы... кожа да кости... бестелесны лилеи... ещё чуть, серафимы... Эти души живые, в сём Море гости: как мы все, сонмы любимых и нелюбимых. Одна девушка, как там тебя, Жизнью зовут тебя, что ли... я забыла... ну правда, забыла напрочь... а другая Смерть, без вопля, без боли, лишь улыбки нежной, хрупкой речная наледь. Слышишь, Пасха?.. движутся в тумане красные кони... и пекут опресноки, нет, куличи... кагор разливают по стаканам-рюмкам... кто там вдали стонет... эта девушка... не бейте... она ещё живая... Ты ещё живая, Жизнь!.. тебя убить не посмеют... ты жемчужина Царская в Раковине столетий... я от боли немею, от слёз косою, я гляжу, как глядят мёртвые дети... Расколось?.. срослось?.. Господи, я не знаю... две нагие девицы, жемчужины в перламутре Мира стального... вы возьмитесь хоть за руки... а вдруг пуля шальная... и тогда не начать нам наш праздник снова... Наш Двенадесятый. Наш колокольный. Тихо Ракови-

на поёт. На ветру. В метели. Мне давненько не было так чисто, так больно. Светит жемчуг. Мы так победить хотели.

Раскололи нас — а мы съединились. Разрубили нас — обнялись смертно, голо. Светит Раковина, Царская радость и милость, на исходе заката, на бреге Раскола. Я стою пред ней в снегу, на коленях, плачу. Нету голоса. Нет звериного следа. Только сердце осталось, и слёзы впридачу. Люди, радуйтесь, люди. Наша Победа.

* * *

(Аввакум и Благодатный Огонь)

Аз есмь грешен, принимаю мученическую Асмертушку среди снегов, среди тайги и тёмной хвои. А ведь вот знаю: там, далёко, во граде Ерусалиме, является Благодатный Огонь верным да оглашенным, да и любому человеку, кто во храм Гроба Господня забрёл случайно. Огонь тут восстаёт пред ликами людей, Агиос Фос по-грецки именуется, не первую тысящу лет. Нисходит Благодатный, живоносный Огонь к людям. Я частенько размышлял о том чуде; читывал о нём в писаниях Григория Нисского, Евсевия Кесарийского и иных древних богословов. Далёко во иных землях, давно-давненько начертали письма о Святом Огне; четвёртый век от Рождества Христова, тот век, егда жил на свете Божиим Иоанн Златоуст; и аз, грешный протопоп, служил во храмах Литургию Златоустову, длинную яко сама жизнь, и Солнце в ней и ночь непроглядная. Слава Тебе, показавшему нам свет! Видел, видел ево Златоуст, тот Огонь, свидетельствовал. Свидетельствовали и святые Отцы: нетварный свет осветил Гроб Господень вскорости посля Погребения и Воскресения Христа. Припоминаю, аз есмь протопоп грешный, словеса Григорья Нисского про то, како Апостол Пётр тот Огонь увидал; видел же не токмо чувственными очами, но и высоким Апостольским Духом. Исполнен был Гроб великово света. Хотя и ночь округ стояла. Святой Иоанн Дамаскин таково об том возглашал: Пётр предстал ко Гробу и, свет зря, ужасашся. А то вот ищо Евсевий Памфил, богослов да историк, таково рассуждал во церковной истории: Силоамская купель раскрылася, и огонь с неба

сошёл, сами собою зажглися лампы, и горели те лампы затем в продолжение всей Пасхальной службы. Святая Суббота, Страстная Суббота, Пасхальный канун! мы издревле справляли Пасху Господню, Светлый, великий Праздник, и весь Христов Мирь, весь Христов окоём Пасху праздновал; завсегда служба Пасхальная начинается раным-раненько. А по совершении службы, баяли монаси, што возвратилися из Ерусалима от Гроба Господня, поётся тако: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, до тех пор, пока не наступит пришествие Ангела Господня и не возожётся свет в лампадах, висящих над Гробом Господним.

Святой Огонь, Огонь Благодатный!.. постояти бы мне на той литании... Мних Варфоломей, друг мой сибирский, повествовал мне за чашкою горячево отвара шиповника в лютый волчий мороз: литания во храме Гроба Господня зачинается за день и за ночь до начала Пасхи. Храм Гроба Господня... закрываю очи мои и вижу ево... каково часто я тот храм воображал: вот собираются паломники под сводами ево, под куполом мощным, и желают они своими глазами зреть схождение Благодатного Огня. И не только православный люд здесь. Инославные христиане, католики сиречь, да магометане, да эфиопы с маслеными чёрными рожами, да неверных полным-полно, тарашатся жадно зеваки любопытствующие. А сколь, Господи, сколь людей на земле не верует в Тебя! разве мы сочтём их! Разве я, грешный, сосчитаю! Иудеи наблюдают, штобы повсюду в храме царил порядок, не бунтовал никтошеньки, не восставал, лишнево не крикнул, словца не сбрыкнул; много, много сотен человек набивается во храм. Вот она, толпа! Вот велия соборность людская! Наруже, близ храма, тож людской дым клубится. Народ бьётся прибоем, народ волнуется, яко сине море; Огонь, он воспыхнет севодня; люди жмутся друг к другу, задыхаются, тесно им, истомно, да никто не толкливый, не злющий, не обидит соседа напрасно; все стараются тишайшими пребыти пред Господом, боятся показаться пред Всевидящим Оком Ево злоками нечестивыми. Накануне Великой Субботы во храме Гроба Господня уж все свечи, лампадки, паникадила потушены; власти уже обыскали Кувуклию, в ней Благодатный Огонь сам собою

возожжётся. Митрополит Ерусалимский, священники, монахи строгими очами обводят храм; на середине ложа живоносного Гроба ставится лампада; она полна маслом, но покаместь без огня; по всему ложу раскладываются хлопья корпии. А по краям кладётся шелковая лента... зрю, она небесно-синяя, цвета Богородицына плаща... а потом плотно замыкают Кувуклию, и запечатывает ея горячим воском храмовый ключник, магометанин.

Сколь раз зрел я внутренним взором: вот настает утро, нисходит на землю Великая Суббота, в тот день Христос спускается во Ад, для того лишь, штобы вознестися в Рай, для того, штобы воскреснуть; отныне и навсегда пребывать с нами, с каждым из нас. Поутру я сам в тот храм, шаг замедляя, вхожу, и я зрю и слышу первые знаки силы Божией; слышу, как далёко в небесах раскатывается булыжниками страшный гром. А солнце палит, а небо синё, яко василёк во ржи, раскаты наползают и уходят, накатывают и отхлынут и прихлынут снова... гром, небесный прибор. И так один час, два часа, три часа, под ворчание грома в зените, люди стоят молча и ждут... ждут... чево ждёте, людие?.. Бога ли Господа нашево?.. да... да... и вот храм вдруг зачал озаряться вспышками ярково золотово света, и не токмо золотово, а киноварново, голубово, алово, изумрудново, снежново, цвета перла речново: то под сводом, под куполом, высоко, там, во притворе, заблестали небесные зарницы, предвестники Святово Пламени. Ныне Небесный Огонь к людям сойдёт! И вот будь-то бы стою я, слеп и глух от восторга и счастья, не слышу гудящий колокол, а время обтекает мя, яко остров, бьёт мне в грудь своею холодной вечною водой, будто я уж не остров каменный, а челнок углый, и плыву по течению могучей северной реки вдаль, в сияющий океан. А вот шествуют иереи; все облачены в чёрные рясы; в праздничных парчовых ризах, золотых, алых и белых, никоно; Страстная Суббота... Христос во Аде, и грешники падают на колена пред ногами Ево, плачут-убиваются, за Ним, лехко идущим, сломя башку бегут, ползут за Ним на брюхе, хватают крючьями пальцев подол Ево хитона: половина хитона красная, половина хитона синяя, кто так сметал силками драгоценный шёлк, то огонь и небо, небо и огонь. Што Ты хо-

чешь поведати мне, Бог мой Христос, огнём Ты облачённый? Ты даёшь мне знак. Ты безмолвно говоришь мне про мой огонь будущий. Духовенство Ерусалимское ведёт под руки ветхово днём Патриарха. Патриарх Ерусалимский в торжественном парчовом облачении, панагия ево сияет, яко Солнце, на старой груди, что устала жить и дышать; вдох и выдох колышут ту панагию драгоценную, усаженную мелкими, яко просо, искусно огранёнными алмазами и сапфирами. Медленно движется, всё ближе, ближе, Пасха Святая. Медленно духовенство Ерусалимское идёт мимо камня Мвропомазания. Батюшки, монахи, митрополит и Патриарх Ерусалимский подходят к помосту, што съединяет святую Кувуклию со всем гулким собором. Вооружённые воины еле сдерживают натиск толпы. Иереи медленно исчезают в большом алтаре собора. На Кувуклии застыла восковая печать. Господи!.. там ли Ты, внутри?

И вдруг ужас кромешный! крики, вопли, стоны, восклицания, визги, пенье, пляски! во храм врываются бурей молодые арабы! прыгают выше головы, визжат, голосят полоумно, бьют в бубны, в дудки дудят, надувая щёки, сидят на плечах друг у друга! Об чём они кричат? Не разберу, я-то ведь арабского наречия не ведаю... мних Варфоломей, друг мой, рассказывал: они просят милости Богородицы и снисхождения Господа Христа, штобы Господь даровал православным во Пасху великий Благодатный Огонь. Кричат!.. слышу, так они кричат: иля дин, иля виль эл Мессиа! Варфоломей перетолмачил мне те безумные выкрики: нет веры, кроме веры Православной, а Христос наш Истинный Бог. Мы-то привыкли к торжеству спокойной, инда широкая река, службы, а тут южные народы, кровь жарче огня: не остановить буйную пляску и веселье! Да ведь вьюныши и любят веселиться, они яко дети! Они ведь ишо дети, чистосердечны и нежны душой, а Богу любые народы угодны, Он всех услышит. И жёлтых, и чёрных, и красных, и белых! Варфоломей отвар шиповничный за милую душу прихлёбывал, на метелицу во слепое оконце шурился да тако мне повествовал: однажды выгнали арабских вьюнышей из храма; пошли вон!.. кричали им сердито, спокой тут возмущаете... а Благодатный Огонь не воз-

жигался, како Патриарх внутри Кувуклии не молился... и Патриарх повелел опять впустить арабов во храм, и тогда Огонь снизошёл. Ах, как бы желал оказаться я среди паломников тех, счастливых! лишь внутри себя, внутри мысли моей, сновидением лишь минутным могу я пережить то великое чудо.

Но вижу всё сновиденное, тайнозримое внутренним, Божиим взором; вижу я, как внутри храма над Кувуклией является маленькое облачко, и будто мелкий дождичек заморосил из него. А я вроде бы стою поблизости от Кувуклии, потому и на мя, грешново протопопу, раз-другой упадают капли небесной росы. Мыслью: разразилась гроза, ливень хлещет по крыше, а во кровле незримые дыры, и проливается влага небесная внутрь... и внезапно слышу: кричат, да все на разных языках, на тысящи голосов: роса, роса, роса Благодатная! роса нисходит на Кувуклию! Божия роса смочила корпию, што лежит на Гробе Господнем. Божия сила велика. Идёт Патриарх Цареградский, идёт Патриарх Армянский, за ними важными гусями ступает ерусалимское священство, то Крестный ход; все памятные места во храме тем важным, великим ходом объаты: вот священная роща, тамо Иуда и Христос стояли рядом, а Иуда римским солдатам показал на Учителя: хватайте, солдаты, вяжите Ево! вот место, где Ево без жалости избивали, зашали римские псы, легионеры. А вот людские смертные стопы доходят до Лысой горы, тамо Бога нашево распяли; до Святово камня помазания, на нём тело Господа Христа приуготовили к печальному обряду погребения. Медленно, мрачно движутся иереи, подходят к Кувуклии и трижды, по кругу, медленным скорбным хороводом обходят ея. Православный Патриарх Ерусалимский замирает около входа в святую Часовню. Снимают, совлекают с него праздничные ризы, и он пред людьми остаётся в одном стыдном исподнем, в полотняном подряснике, штобы узрели все, все: не проносит он с собою во святую пещеру ни кремня, ни огнива, ни свечи жёлтово воску, што может воистину родить и затеплить огонь. Турецкие воины смотрят сурово, ятаганы висят у них на волчьих поясах. Подризничий несёт пред собою и вносит в пещеру большую лампаду; именно в ней дол-

жен вспыхнуть Огонь, а ишо несёт пук свечей, всево свечек в пучке тридцать три, не мене и не боле: по числу лет земной жизни Спасителя нашево. Патриарх Ерусалимский и Патриарх Армянский долго, горячо, брадатые старики, каждый уж на пороге смерти, будто прощаяся, слёзно глядят друг на друга, себя крестят и крестят друг друга, армянский Патриарх, како же и Ерусалимский, совлекает облачение, и вот оба они, патриарх Ерусалимский и Армянский, в одном исподнем платье всходят внутрь таинственной Кувуклии. Закрывается за ними дверь, кладётся на дверь ярово воска печать, налагают на дверь алое лентие, монахи, каждый, печатки вминают в тёплый воск. Все, у кого горели в руках свечи, дуют на них; исчезает огонь, воцаряется тьма, голубкою слетает тишина, к людям приходит ожидание. Каждый молится молча, мыслями, слезами, беззвучно, дрожащими губами повторяет святыя слова молитвы, исповедует Богу и Богородице грехи свои. Чем горше и откровеннее мы покаемся, тем боле надежды у нас, што Господь дарует нам Благодатный Огонь Свой.

Благодатный... раздумайся, человек, есть ведь и огонь Божий гибельный... в наказание, возмездие нам, неразумным, нечестивым... **ВОТЪ Я СОДЕЛАЮ СЛОВА МОИ В УСТАХЪ ТВОИХЪ ОГНЁМЪ А СЕЙ НАРОДЪ ДРОВАМИ И ОГОНЬ ПОЖРЁТЪ ИХЪ.** Пророка Еремию-то вспомни и огненное слово ево...

А не грехи... не грехи, не грехи, и не будещи ты разрушен, яко разрушен и сожжён стал храм Ерусалимский...

Все люди глядят на дверь Кувуклии, на яркий красный шёлк, будто мазок огня, язык смертного пламени. Красный суть красота, суть кровь. Да, то кровь, Кувуклия запечатана кровью, кровавые сердца людей бьются и ждут, терпеливо ждут. Терпение и смирение, вот насущные добродетели. Сердца вострепещут. Они трепещут в ожидании, ибо сказано было Церковью Ерусалимской: тот день на земле, егда Благодатный Огонь к людям не сойдёт, станет последним для душ живых, а сам храм будет разрушен. А я так скажу: последним такой день станет для людей всея земли, для людей всея Руси и народов иных земель. Да исповедуются и причащаются паломники и все люди пред тем,

как переступить порог храма Гроба Господня, ибо ты должен быть чист пред Господом, чище чистово и светлее светово, ежели притекаешь из иных земель на Пасхальную молитву.

Чудо! Люди молятся, люди молчат, люди ждут: чуда может не случиться. Ждут минуты, часы, года, века. Тьмы тем времён проходят, яко в небе облака. Боги рождаются и умирают. А люди стоят. И ждут, ждут, ждут.

Скоро, скоро или никогда; вот сейчас; или так стоять и ждать будем всегда.

Храм озаряют яркие безумные вспышки, серафимские молнии. Они перекрещиваются, яко мечи и сабли, они возжигаются сами собою в дальних закутах древлево мрачново храма, они вспыхивают от иконы, што висит высоко над Кувуклией, они падают златыми зёрнами из-под купола. Они режут и рубят тёмный грозовой воздух, заливают всё округ жаром и золотом, то здесь, то там, везде и всюду, всё гуще и гуще, меж мощными колоннами и ветхими, изъеденными голодным временем стенами храма мелькают весёлые молнии, светлые трезубцы; они ударяют в людей, што кучно толпятся во храме, но вреда никакого не причиняют живому; миг, другой, ишо мгновение, и весь храм уже крепко, богато опоясан святыми молниями, бликами, яркими солнечными пятнами, свет! свет! родился свет!

Агиос Фос!

Огонь мечется и рвётся, ползёт по шершавым, будто потным и солёным камням, по испещрённым письменами веков и вмятинами времён колоннам вниз, взмывает вверх, под купол, пламенными ручьями выбегает вон, на свободу, и растекается златым разливом по гудящей площади, среди паломников, и в тот же миг у стоящих во храме и на стогнах и улицах пред храмом сами собою в руках загораются свечи. Сами собою возжигаются лампы обочь Кувуклии. Всё пылает, всё сияет, всё дрожит живым могучим светом, и вдруг восковая горячая капля упала мне на лице, и я услышал, как над толпою разнёсся крик неистовый, крик восторга и потрясения: Огонь! он горит в алтаре! он пришёл, Благодатный Огонь, вот, сошёл к людям!

Господь сошёл к нам, людие!

Вот вспышка!.. и мощное пламя, огромный огненный цветок Кувуклии торжествует посре-

ди храма, посреди Мира. Огонь охватывает храм, и вопль радости звучит-гремит, коево я никогда в жизни не слышал. Гляжу на Кувуклию во все глаза: она громадной каменной рыбой плывёт во огненной тьме храма, а белые, жёлтые, златые, алые, синие молнии струятся округ нея, пляшут, Огонь хороводит и дышит! А из круглого отверстия во куполе на Гроб Господень с неба Великой Субботы опускается незыблемый столб чистейшево света; я не видал никогда подобно сияния. Читывал я во священных книгах, што таковое сияние впервые явилось во время блаженново на все века Воскресения Христова, аминь.

Двери Кувуклии запечатанной, закрытой алым запретным лентием, отворились, и вышел к людям ликующим православный Патриарх Ерусалимский и благословил всех во храме, всех на площади и всех на широкой земле: Благодатный Огонь родился для всех. Патриарх начал раздавать огонь людям. Прихожане подносили свечи ему, плача от счастья. Мороз и огонь бежали у меня по коже живой, в гусиных пупырышках, по грешной спине моей, жгучим кольцом охватывали грешный мой лоб, и будто власы возжигались на мне. Я читал молитовку, еле шевеля устами. Храм был мрачен, и озарился; смерть накинута чёрный плат, да огненная птица пропела. Митрополит высоко держал в руках пылающий пучок свечей Великой Субботы. А вот, людие, глядите, книжица заветная, и в ней иеромонах Мелетий приводит слова архиепископа Мисаила: вшедши внутрь Святаго Гроба Господня, видевши: на всей крышке Гроба блистает свет, подобно рассыпанному мелкому бисеру, белому, голубому и алому; бисеринки те совокупаются, сливаются воедино и претворяются в суть Огня, и от тово Огня уготованные ранее кандила и свечи возжигаются.

Всё како по-писаному и было. Свидетельствую! ибо истинно!

Гонцы, гонцы... ишо Патриарх в Кувуклии стоял, а гонцы уже чрез отверстия в каменной кладке Огонь возожгли и свечи те во мгновение ока разнесли по всему кричащему в радости храму. Огненный круг стал шириться, прибывал огонь, бил прибором в лица людей, и не все возжигали Огонь от Патриаршей свечи; у иных людей он загорался сам; всё ярче и сильнее, всё

мощнее и счастливее являлись неутолимые вспышки небесного света. Благодатный Огонь летал златыми голубями уже по всему великому храму, рассыпался яркими синими жемчужинами над Кувуклией, вокруг святого образа Воскресения Господня. Слепя зрак, вспыхнула одна из святых лампад: Огонь на Голгофе лампаду возжёт. Люди махали пучками свечей, смеялись, пели, кричали. Сполохи усиливались. Искры сыпались бешаной половой там и сям. Близко мя стояла жена в чёрном одеянии, смиренная, со печальным ликом. Огонь зажётся, и она засмеялась, яко робёнок играющий, и трижды сами собою загорелись свечи в ея руках. Она пыталась их затушить, а они наново загорались! Люди водили Огнём по лицу, он не обжигал щёки, подбородки и уста, не опалил ресницы и брови; люди восклицали: не жжёт! не жжёт! ево можно пить! и можно им друг друга ласкати, яко нежною рукою! Все прихожане храма Гроба Господня умывались Огнём, черпали ево, яко златую воду, в горсти и пригоршни. Не клеймил Огонь болью людскую плоть, не нанёс никому увечья. Муж един возжёт сразу двенадцать свечей и браду свою всеми теми свечами жёт, и ни единого волоса не подпалил, не скорчил Огонь на браде могучей.

Гляди на Святой Огонь, человек! Богу молися! поминай родных твоих, кто намедни преставился! поминай убиенных твоих, покойников твоих давних и недавних, сыновей-дочерей, матерей-отцов, всех родичей усопших, все толпы несчислимово Рода твоево, во мглу уходящие, во тьму времён! Огонь Благодатный возжётся — и всепрощение тя посетило! Огонь Благодатный воссиял — и мир во душу твою снизошёл! Огнём тем Божиим помолися за всех живущих и всех мертвцов: верь, они тож Огонь Пасхальный с небес созерцают и слёзы твои умиленные зрят!

Обними их душой. Поцелуй их... плачущими очами твоими...

Господи... когда то вами, людие, писано было... во книгах моих святых, старинных то навек запечатлено... и шепчу, и хриплю, и чту вослух, и плачу, и слёзы мои капают на жёлтые от старости страницы, яко те капли воска, што падают во храме Гроба Господня из-под каменной сферы владычново купола; прихожане именуют те капли Благодатной Росой. Мних Варфоло-

мей разьяснял: таковые капли застывают на одеждах свидетелей возожжения Благодатного Огня навсегда, на всю жизнь, никакая баба не сможет прать то бельё до первозданной чистоты и белизны, те росные капельки, родинки Мира, родимые пятна великово чюда, небесные знаки. Я стоял, выю вытянувши жоравлём, радость безмерная мя обняла и умиление голубиное, дух мой умирился хотя бы на миг, на площади люди кричали, вознося Господу хвалу, площадь вся была залита огнями, я будто наново родился, и наново родились все люди на службе во храме в ту Великую Субботу. Мы все очистились. Мы все прозрели. Никто не застыл в равнодушии, во льду сердечном, гибельном.

Огонь, он дарован нам Господом. Дарован магометанам, дарован язычникам. Господь всех нас до единого видит и любит. Крестоносцы, римляне, готы, воины Чингисхана... сколь сражений, сколь крови лилося... Огонь: утверждение бытия Божия. А когда огонь сей воссиял впервые? Муроточат иконы, муроточат фрески, с коих взирает на нас, грешных, Спаситель Христос. Благодатный Огонь, святое Муро и чудесная Плащаница, она же хранится в земле Латыньской, во граде Турине. Молитесь Богу, кто не верует. Всёмних Варфоломей мне рассказал; и я там был, я всё видал, и я свечи к тому Огню тянул, и рука моя дрожала, и сердце моё пело, и сам я плакал от счастья, быть пред Огнём Благодатным и целовать ево, и погружати в нево лице моё; и не обжигал он мя, не жёт, не мучил, не палил, а давал себя целовать щедро и радостно, и обнимали ево златые языки щёки мои, и волосы мои, и жизнь мою, и веру мою, дыхание моё и любовь мою, всё то был Благодатный Огонь, и он был со мною, и он был я, и я стал он, и мы стали едины, я, грешный Аввакум, и Огонь Благодатный, не разлить, не разрубить, не разделить, не различить. Благословляю тебя, мой Огонь, я дождусь тебя, я прославлю тебя, а ты меня. Не убоюсь тебя, а ты помилуй уж меня. Ты не сожрёшь мя с потрохами, ты просто возьмёшь мя к себе, и кровь моя узнает тебя, кровь моя суть красная, златая, пылающая кровь твоя. Мы сливаем крови, мы горим, мы будем гореть и жить в наших зимних небесах, у Бога на часах, всю жизнь, всю смерть, всегда, во веки веков, аминь.

* * *

(такая длинная война)

Того священника, ну, я вам говорила про него уже, запытали, сожгли. Схватили и того важного, я не знаю, как он по-церковному правильно зовётся, патриарх или ещё как, архимандрит, митрополит, не знаю, короче, владыку того сначала поволокли вешать, потом подъехал автобус, из него повысыпали солдаты, казнь прекратилась. Владыку со связанными руками втокнули в автобус и увезли. Я не знаю, куда. На смерть, думаю. Всё равно на смерть. Не убили здесь, убьют в другом месте. Они грозились ещё схватить самого главного генерала, всё кричали: захватим главаря вашего в плен, сразу не убьём, сначала поглумимся, помучим всласть! Враги всегда друг друга мучат. Только мы не мучим. Мы только бьём врага, а если в плен берём, то нет, не мучим. Благородные мы. Ну, характер у нас такой. А тот священник, ну, с седой бородой такой длинной, всё кричал: каты! каты! палачи! сволочи! всю жизнь меня терзали, и опять вот терзаете! Его били по лицу, я видела. Из рта у него кровь текла, зубы выбили ему. Старик бормотал всё какую-то фамилию, я не разобрала, вернее, не запомнила, вроде Пашин, или Кашин, или Пашков. Не помню. Его привязали верёвками к доскам, доски сколотили наподобие креста, распятие всем покоя не даёт, когда человека замучить хотят, даже в наше время распятие сооружают. Привязали и подожгли, он кричал сильно, а его, пока огонь не разгорелся сильно, били по щекам и по рёбрам. И самое главное, били и обидное ему кричали, гадости всякие. Я слушала и думала: ну мы же люди, мы же все братья, как это умудрились нас так поссорить, так расколоть, что мы начали друг друга убивать, или это в людях зло так глубоко гнездится, а потом вылезает наружу, не понимаю. Я вообще ничего не понимаю в войне, только чувствую, что за нами правда. Правду не сожжёшь, не распнёшь, правда, она правда и есть. Священника жалко. Старухи плакали, когда я рассказывала. Вот вам сейчас рассказываю. За чем только рассказываю. Опять всё вспомнила, вот реву. Это невозможно без слёз. А солдатики наши когда по дорогам едут, в машинах, в авто-

бусах, им навстречу выходят люди с едой, с водой, суют им в машины продукты, питьё, кто в мешках, кто в ящиках, красными флагами машут, кричат, плачут, плачут от радости. И я так стояла и плакала от радости. У меня с собой ничего не было солдатам дать, кроме жавороночка, глазки изюмные, бабушка испекла вчера, прежде чем её убило осколком. Я протянула жавороночка бритому солдату, у него такие светлые глаза ясные были, так он хорошо на меня посмотрел. Он моего жавороночка за пазуху сунул, под гимнастерку. А я гляжу на него и думаю: вот ведь на смерть поехал парнишка, везде стреляют, взрывают, гляжу и плачу, а машина притормозила, и солдатик мне говорит: не плачь, я вернусь, тебя найду и на тебе жённость. А я стою, реву, ему рукой машу и думаю: когда ещё это будет, ведь такая длинная война. Все идёт и идёт, идёт и идёт.

* * *

(Царь, один-одинёшенек)

Могуч ты, Никон. Могуч. Да только я сильнее. Я сильнее всех супротивников, и вот, сильнее Аввакума оказался; да, поборол я протопопу, во темницу навечную ево усадил, в ямину земляную; и надо будет, срублю и сожгу, яко дуб во печи: жарче всево дуб горит, теплом всю клеть наливает до краёв. Я ево огнём покрещу. А тебя — крещу неволей. Што, несладко в неволе? то-то. Власть возыметь наравне с Царём! то суметь надо содеять. Ну, ты и содеял. Да обманул-ся в деянии твоём нечестивом.

Честь, честь. Што есть честь, а што безчестие? Меня вот злые языки безчестным именуют, безсердечным, во жестокости обличают. Думаешь, добрый хозяин чад своих по затылкам гладит, в лоб целует? скотину свою луччею едою кормит? жёнку свою на руках носит? Вот и ошибся! Добрый хозяин чад своих по лбам ложкою бьёт, ежели к миске со щами первыми тянутся, скотине своей башки отсекает, рубит ея и режет на мясо, на сало, на вяленьё в зиму долгую: да штобы скотина та острастку имела, слушалася хозяйина и у ног ево ложилася смиренно; а жёнку плетью охаживает да сапогом, сапогом по бокам да по телесам всем дебелим, а штоб она тише

воды ниже травы пред мужем ходила, штоб она ему услужала смиренно да шёлковою волною, аки плат посадский, пред ним расстилалась. Иначе — гибель хозяину! Восстанут все слуги ево на нево! И со свету сживут!

И я тако же с моим народом. Народ надобно в кулаке держать! Да кулак крепче, крепче сжимать! Больно стискивать! Штобы народ там, в моём кулаке, верещал! Пощады просил! На костёр шествовал, на плаху, на висельцу! И самых моих ближайших друзей, тех, кто родней родных, я на побивание батогами, во мрачное заточение да на смерть отправлял. И думаешь, сердце моё не дрожало? Ишо как дрожало! Тряслось просто! Колыхалось! И, да, Никон, плакало, горячими слезами плакало сердце моё! А не забалуешь у меня! Я сам у себя не забалую. Я — Царь.

Я — Царь!

А может, я раб последний. И это я у тебя должен в ногах валяться и пощады молить, а не ты у меня.

Народ мой я умерщвляю во благо же ему. Во благо, слышишь! Гибнуть должен скот под ножом, под топором хозяина! А не бляети бунташно!

Ты зеркало моё. Я зеркало твоё. Мы оба отражаем друг друга. Худо мне, и задыхаюсь я ночью. Лекарь мне скорую смерть пророчит. Велю я лекаря тово болтливово страшную казнь казнить. Да не помру я, не помру, нет!.. Цари разве умирают!.. Цари вечно жить остаются. А где Аввакум? А нет ево. А в яме он. А может, уж на костре! В сердцевине огня! Кричит и горит! Горит и кричит! А мне донесли слуги верные: он, из костра невредим исшел, по дороге пошёл, пошёл, пошёл... да так и ушёл. Утёк! Истаял. И не видали ево. А лишь слыхали о нём; слухом земля полнится; разное баяли. Балакал народ, што из огня ево, егда уж хворост подожгли, девчонка прибудная спасла; она, дескать, крикнула: беру ево в мужья!.. ну, по обычаю, надобно отпустить казнимово. Отвязали ево, он и пошёл, шатаясь, ей навстречь, девчонке той, кто брешет, бабе в соку, кто бубнит, старухе; о Настасье Марковне своей, видать, и не вспомнил. А кто бормотал, што, мол, он пошёл-пошёл по полям-лугам, по долам-лесам-перелескам, шёл да шёл, и видали ево везде, где только не вида-

ли, и по градам шёл, и по весям шёл, по стогнам да по крутоярам, по столбовым дорогам да по козым тропкам, мелькнёт да пропадёт. Аки птица перелётная. Кто зрел ево во Белом Поле; снега, снега округ могучие, нескончаемые, ноги вязнут, душа морозится насквозь, насмерть. То лёд, то огонь, вся такая наша жизнь. Он идёт, а навстречь ему девчонка, али баба, али старуха; издала разве разберёшь; та аль не та, никто не прознал хорошенько. Што глядишь исподлобья? Сам я ничево не знаю. И слухи те тебе поведал из жалости. Штобы ты восчувствовал: нет, не казнил я протопопа, нет, жив он, жив. Он приходит ко мне во снах моих. Является из огня. Обожжённый весь, в волдырях, в крови. Глядит на меня и тихо так говорит: ВОССТАТЬ Я ИЗЪ ГРОБА ЯКО ЛАЗАРЬ ПОГЛЯДЕТЬ НА ЦАРЯ МОЕВО. Боже! Господи Сил! Помози мне грешному! Укрепи мя! Помилуй мя!

Вот над тобою владыкою, Никон, во время юности твоя старец Елеазар возвышался на острове Анзере, во Белом море. Соловецкий монастырь весь на Елеазара глядел, яко на Бога самово. А ты ему воспротивился. Супротивник ты всегда был, Никон! Зачем ты мне стал заместо отца! Зачем ко мне подольстился, подлез хитро, подлец! Пошто нужен я был тебе?! Штобы возле последней, наибольшей власти погреться, равно как у печи изразцовой, да самому ту власть — занять?!

Елеазару ты в сердце плюнул. Рассорился с ним. Удрал от нево. А от меня не удерёшь. Я везде найду. Ты то знаешь; и потому не рвёшь постромки. А нравный ты! Ты в небеса взмощь, аки голубь — я тебя и в небесах найду. Ангелом не станешь! И не надейся. Но и во Ад не направишь стопы; много чести тебе! Туда только Христос Бог спускался посля Распятия Ево.

Свободу любишь?! А вот тебе скит. Волю до дрожи хребта вдыхаешь?! А вот тебе затвор. Монастырь та же темница. Рыбоньку в одиночестве ловил?! Залови, попробуй, грешные души тюремщиков твоих!

Я моложе тебя, Никон, но я крепко понимаю: храм — не базар. На сто голосов во храме не кричат. И ты, хитрец благочинный, устраивал во храмине благость и тишину. Тишину... тишину... За то я тебя и возлюбил, за тишину. А кровь?! А, кровь! Кровушка! Пролил я ея вед-

рами, реками, кровь людскую! Яко красные слёзы, землю она залила! Питалась кровью земля, и это я, я питал ея пищей той! А гуще крови нет причастия! А слаще крови нет насыщения! Тишина у тебя за спиною, Никон, а напереду — суровость да ненависть! Ненависть — к кому, к чему? А к тем, кто Бога не почитает! Кто Богу готов, как воин римский презренный там, на Голгофе, сунуть пику под ребро!

Я боярыню Феодосью велел казнить, я. Я тебя в заключение велел упечь, я! Я такой, я сякой! Да я — Царь! А ты кто такой?! Мой народ — весь у меня под пятой! Ты же сам, дурень Никон, так меня учил. Нашёптывал мне: держи, держи народ в узде, а я буду овец моих рядом с тобой пасти, и так два владыки пребудем! Я верил тому. Я хотел тово! Видел ясно: нет сильно Царства без жестокости. Без смерти. Хрипят люди на висельцах! Обматывают им каты жалкие шеи вервием и топят во проруби в день зимний, солнцем, яко златым млеком, залитый! Катятся орудия башки под топорами! И льётся, льётся, льётся бесконечная кровь, без конца без края, без преграды-предела! Кровь! Вот што дороже золота! Дороже жизни! Дороже, ценнее смерти самой!

А Бога — кровь — дороже?!

Да Бог и кровь — это одно!

Бунтует народ, бунтует! Овцы мои вырываются из загона и наобум, навонтараты несутся, сметая в неистовстве всё и вся на своём безумном пути! Бунты-то наши упомнишь?! Соляной! Хлебный! Медный! С ума сходил народ. А Стеньку Разина вспомнянь-ка! Вот разбойник, всем разбойникам разбойник! Разбойник... там, на Голгофе... ну-козь вспомни те словеса неизбывные: нынче же будеши со Мною в Раю... Господа голос... далёкий, дальний... и гаснет... ты не слышишь... и я не слышу...

Как казнил мой народ, так и впредь буду казнить. Ты не Великий Государь Патриарх! Ты просто загордившийся служка, и самовластье твоё я пресёк. Ты о грецких списках пёкса да о поправлениях в Писании Священном, а я — о том, штобы тебя, в случае чево, приструнить, в хомут мой выю твою всунуть. Яко отец ты был мне — яко грядущий предатель, стал. А почему, и сам не знаю! Есть мудрость такая: бойся, правитель, самово верново служи твоево!

Ты лют — и я лют. Ты зол — и я зол. Да я злее, лютей. Ты виноватых иереев сажал на цепь — я виновных сразу на дыбу, на костёр, в яму. Смерть и кровь, вот главная народа азбука! Царь со своим народом, запомни, всегда ведёт войну. И што, плохо это, скажешь? Обвиняешь меня? Укоряешь меня?! Да я прав, я! Жалость, то для баб слабодушных. Царь — иной породы. Я, и нищим став, пребуду Царём. А ты, ты... глодай в Ферапонтове монастыре рыбью кость, изымая ея дрожащими пальцами из жиденькой ущицы, воспоминай Соловки и преданново тобою, аки Христок Иудую, старца Елеазара, московские гулкие соборы, а может, твои синие, речные да песчаные нижегородские пределы... и молись за меня! Я ведь жизнь оставил тебе!

Жизнь... и кровь твоя течёт в тебе...

Ты там вот што... Никон... помолись за меня, отче, прошу тебя... аз есмь Царь недостойный... я жить хочу, и я умираю... души всех убитых вопиют ко мне... вопли всех, кровию истекающих, пронзают мя, аки копьями Христа на Кресте... и помолись за боярыню опальную... год назад, всево лишь год, уморили ея... до чево страшна ея смерть... я бы, слышишь, я бы не хотел помереть в яме... ведь то могила при жизни... сидишь во твоей могиле и поёшь псалмы... утешаешь себя... а на земле мы кто такие?.. есть ли смысл во земной жизни, Никон?.. али всё прейдёт, и мы прейдём, и зачем же мы тут жили-были, во времени?.. зачем текла в нас горячая кровь наша?.. зачем не пролили мы ея в битве, не умастили ея родимую землицу...

* * *

(я, Аввакум и Пасха Господня)

Я видела ту Пасху Господню. Март, ослепляет солнечный день, а небо такое синее, аж режет глаза. Аввакум стоял на Солнце; последний снег сходил. А Благодатный Солнечный Огонь сходил с небес. Он стоял во чёрной рясе, в коей ходил всегда. Да, Пасха Господня, Светлая Пасха Господня! Стояли пред ним женщины. Одна в богатой парче, прошитой отборным жемчугом, в юбках густых, капустных, в кике, развышитой бисером и крупными, кругло обточенными иверийскими руби-

нами. Господни яхонты, роскошь, боярыня должна то быть, думала я. Я тайком озираю ея с ног до головы, а сама стояла тише воды ниже травы, а за поленницей дров, за сараями, видела другую бабу: в простецких тряпках, подпоясана верёвкой, холстина поистрепалась, юбка снег метёт, в лаптях, котами обцарапанных, детишки за ней толпятся-мнутя, переступают на снегу да прыгают, штобы согреться, и так любовно глядит она на протопопа, таково прожигает ево глазами... глазами говорит, глазами поёт, плачет душа в ея глазах, не опускает она глаз, пытается скрестить их с горящими под изморщенным лбищем очами протопопа. Я узнала ея. Жена отченьки Аввакума, протопопица Анастасия; а детишки-то, пошто они мал мала меньше? Они же все давно выросли, а какие и поумирили; в маленькие гробики клал их протопоп, рыдая над ними горько, да, это жёнка ево Настасья, што пекла ему блины на Масленую неделю и пироги в печи, сходной с широкою ладьёй; што варила ему щи постные да зелёные из молодой крапивы, а лепёшки стряпала из лебеды, когда муки не водилось у них... всячески изошрялась, штобы мужа своево повкусней накормить, ведь Ева в Раю тоже накормила яблоком голодного Адама. Как мне быть? Выбежать из-за поленницы, крикнуть: тут я, люди, тут! и меня заметьте! и меня увидите! и меня... повела глазами вбок и зрю: богато обряженный человек, а на башке у него шапка Мономаха, крупные смарагды и лалы огнём горят, Крест Господень наверху шапки, мехом соболиным опушена... то наш Царь-Государь! я чуть не упала на снег резучий, чуть не завопила в голос: Царь! Откуда ты здесь? Зачем ты... Царь насупил русые брови и глядел на протопопа таково сурово, што содрогнулась я: вот-вот подойдёт да наотмашь по щеке ударит. Алексей-Царь, это был Царь наш живой, Алексей Михайлыч. Што, Царь-Государь, возговорил протопоп, Христос тя ко мне, видишь, привёл! пришёл мя со Светлым Праздником поздравить, с Воскресением Господа Бога нашего? Славься ты на земли, Царь! А прежде всех век славься наш Господь! Он на землю спускался ради нас с тобою, Царь; Он на небеси воссиял ради нас с тобою. Зачем же ты казнишь мя глазами? За-

чем казнишь дыбою и батогами? Зачем хочешь умертвить, убить? я живой тебе пригожусь; но давай же расцелуемся единожды, а хочешь, и трикраты. Похристосуемся, мы же с тобою русские люди. Христос воскрес!

И Царь шагнул к протопопу, и руки протянул: воистину воскрес! спокойно, важно так сказал голосом низким, утробным, и протопоп прилизил лицо своё к лицу Царя и расцеловал ево трижды, во имя Господа нашево и Светлаго Воскресения Ево, и тут шагнул по снегу ишо один человек, я бегала по нём взором туда-сюда, изучала ево, разглядывала украдкою, пыталась узнать, понять... вспомнить. Я никогда не видала ево; Царя-то я видала, помнила, а вот этово человека... нет: он стоял пред протопопом в праздничной белоснежной ризе, развышитой перлами и смарагдами.

Всё! вспомнила. Патриарх.

Ближе, ближе Патриарх Никон ко протопопу подошёл; бородастое лицо ево залилось дождём внезапных морщин, исказилось; они оба молча глядели на протопопа, Царь и Патриарх, не говорили ни слова.

Аввакум сделал к Никону шаг. Здорово, Никитушка, как живёшь-можешь? Христос воскрес!

И тут протопоп распахнул руки, раскинул их широко, желая то ли обнять Патриарха, то ли взлететь в небеса. И мне почудилось на краткий страшный миг, што протопоп стал живой Крест, человек-Крест, и повиснуть на нём кому? мне, девчонке малой, жалкой? Да я за ним волчонком бежала след в след! Да я за ним бы кухаркой, стряпухой, служкой зажигала свечи в церковном приделе, когда шёл бы служить он, поранку литургисать; подметала бы тропу пред ним веником-голиком, штобы в пыль смести червей, жуков и гадов ядовитых, весь непотребный мусор, штобы по чистоте великой ступал он по земле. Он мя не видит, он не крикнет мне: Христос воскрес!

Никон шагнул назад. Воистину воскрес, протопоп, тяжело произнёс он; каждое слово Никона падало и катилось чугунным шаром, а изо рта протопопа излетали слова языками огня. Што же не цалуешь, али во Христа не веруешь ты, протопоп?

Оскалился шеником приблудным, и сделал

шаг, и сам обнял ево, сам приблизил лик свой брадатый к брадатуму лицу протопопа, и, еле касаяся губами, трижды расцеловал ево на морозном солнечном воздухе, под неистово-синим небом, в виду жены протопопа Настасьи, боярыни, имя чьё было мне неизвестно, да Царя Алексея. Похристосовались. Протопоп оттолкнул от себя Патриарха обеими руками. Ну и што, што Христос любовь проповедовал, и ты тоже нынче о любви мне скажешь, Никон? Ну, говори, я слушаю! слушаю да на ус наматываю! Зачем мы живём на земле, Никон? Да ведь для любви одной! То Господь наш нам пытался втолковати, детям неразумным! Да не слушались мы Ево! А сколь сотен лет прошло с лютой казни Ево и с Воскресения Ево! Пойдём на службу вместе! Вместе будем литургисать! Знаешь ли, Никон, я ведь всё забыл! Я вражду забыл, ты гнал мя, пытал, заушал, бичевал, ты бил мя смертным боем, а вот он я, жив, невредим, Господь мя спасал! Знаешь, Никон, штобы заставить меня замолчать, надо меня просто уничтожить! Убить! А лучше всево, Никон, мя сжечь! Нет ничево надёжней костра, ничево верней и пыталней огня. По кой я живу на земле? Да для любви! вот, гляди, их люблю!

Протопоп подъял руку и показал на жену и неведомую мне боярыню, на детей своих. Гляди, гляди, вот баба моя! а вот ученица моя, кою ты велел изничтожить... а ныне Воскресение Господне! И гляди, и воскресла она! А может быть, я-то уже сожжён да опосля воскрес из огня; да, сожжён я, сжёл ты меня, да, восстал я из огня, яко птица Феникс, ты видишь то, ты понимаешь то, в сердце твоё то чудо впусти. Не знаешь ты, Никитка, што такое время! и я не знаю, не ведаю, што такое кровь людская. Хоть она, кровь, и в тебе, грешном, течёт. Перевернул ты Церковь нашу с ног на голову. Избичевал до самых жил. Яко пса поганово, бродячево, яко преступника, избил, уничижил, в рот кляп сунул. А тебя Царь вон как высоко вознёс, высоко и далёко! Эх, Патриарх, расцеловал я тя тоекратно, простил я тебя, а ты так глядишь злобно, и я понимаю: ты-то меня никогда не простишь, никогда не забудеши о том, что аз есмь; сколь ты не живи на земле, Никитка, я, протопоп, буду мешать тебе жить, и бу-

дешь ты шипеть, как змея, будешь ядом плеватися и верещать: ты, протопоп, занимаешь место моё! вот лучше бы тебя не было на земле! я спокойно жити буду, коли тебя не станет! Всё я то знаю, всё ведаю; исполнится мечта твоя когда-нибудь; подпишет Царь указ, где чёрным по белому, гусиным пером лехчайшим начертано будет: казнить протопопа Аввакума лютой казнию, наилютейшей.

Древлие рукописи! Лишь по ним можно править службу. Ведь то дело Господа касается, не нас, людей жалких! Зачем ты, Никита, всё с ног на башку перевернул! Пошто всё искорёжил, извратил, испохабил! Зло, может, ты глубоко в сердце больном таишь, лелеешь, зло поворотом Времени кормишь... Иначе како объясню, истолкую поступки твои? Нет в них любви! Нету любви!

Рукописи... письмена... то тайна веляя есть... зачем мы чертим на бумаге, на снегу, на песке знаки наши людские... А звери ведь тоже чертят знаки неразгадываемые: лапами своими, копытами, когтями, хвостами... Птицы вон на снегу крестики Божии оставляют, когда по снегу медленно, важно ступают... А потом крестики птичьих лапок под синим, васильковым небом вышитой птичьей дорожкой смиренно лежат, и Бог глядит на них, малые письмена Свои, нежные, вот-вот на Солнце растают, исчезнут... и улыбается...

А книги людские?.. што они!.. Это мы, люди, мним, што написали незывлемое. Вечное! Бьём себя во грудь, накропав множество словес, и кричим-хрипим: я безсмертен!.. я безсмертен!.. Ничуть. Зablужденье то, безумье. Нет безсмертия на земле, нету ево и в небесах! Исказил ты древлюю веру, Никита. И не только ея. Ты всю нашу жизнёшку вывернул наизнанку, как вязаный зимний носок! Италия, говоришь?! Гишпания?! Греция?! Да у нас на Руси зимнее небушко синей, чем в твоей Греции! Хотел ты путём позорных поправлений святости праотцев наших с нужными тебе греками сдружиться. Ну, што?! Сдружился?! Што молчишь?!

Мыслишь, веру другую из Реки Времени удою, хилой да хитрою, выловил, ровно мощново тайменя?!

И тут шагнула к ним, сделала шаг, другой, третий неведомая боярыня. Отец Аввакум сказал, я слышала, то ево ученица. Я никогда не видала ея... мучительно имя ея вспоминала. Да! Вспомнила. Феодосия. Феодосия. А отчество-то позабыла; навроде женою боярина, важно богатея она была. Глебом, кажись, боярин прозывался. Златые копи, уральские каменья, подземная добыча. А почему была? Ах, да, протопоп же молвил, она воскресла... воскресил ея сам Христос, штобы справила она Пасху Господню рядом с протопопом, учителем своим. А разве возможно такое чудо? Разве не все люди, што уходят во тьму, уходят в нея навсегда?

...вспомнила: протопоп ея так смешно кликал... болярыней...

Протопоп оглянулся на поленницу дров; он почувял, што я стояла там, пряталась, и я поняла, што мне надо выйти оттуда, показать лицо моё всем тем людям, и Царю, и Патриарху, и протопопу, и Настасье, и Феодосии. Ноги подкосилися у мя от страха, не могла я дышать, а сделать шаг надо было. Надо.

Боярыня улыбнулась протопопу, подняла руку белую и положила ему на плечо. Учитель, тихо сказала она, всё предсказанное сбывается, все святые пророчества в срок исполняются, все древние книги, коли святы они, заново рождают себя на свет среди людей. Зачем ты вызвал меня из мрака? Ведь ты же не колдун, протопоп. Ведь ты же святой человек!

Усмехнулся Аввакум. Болярыня! грешен я, грешен пред всеми, и пред Патриархом, и пред Царём, и пред женой, и пред тобой, святой мученицей; ты повторяла слова мои затем, штобы грядущие поколения их познавали, по складам разбирали и плакали над ними. Што есть слова? они суть людские слёзы. Они суть бедное живое сердце, и бьётся, и болит, и умирает, и слышим мы ево биение чрез века. Вот евангелисты Апостолы; рисовали они письменно свои пустынные, начертали Господа жизнь на пергамене, на коже нерождённово телёнка. А мы все небесные те письмена еле по складам разбираем, до сих пор не смекаем, об чём они глаголят, не уразумели всея мудрости, што сокрыта в них. Вот Пасха Господня, болярыня моя. Христос воскрес!

И положила боярыня Феодосия другую белую

руку на другое плечо учителя и приблизила к нему румяное лице своё.

И поцеловала ево раз, другой и третий, и отняла от него лице своё, и долго и радостно он глядел на нея, так долго, што поняла я — глядел он на нея целую жизнь, и целую смерть глядел, и отрывать очей своих от нея не хотел, да и она глаз не желала опускать, глазами всё продолжала ево целовать, и поняла я — то любовь небесная, то любовь, любовь, не надо слов, то просто дыхание, она во зле и гибели жива, она под ноги стелется, как трава, и отвернула я лице. Не могла смотреть. Я, как те дрова в поленнице, хотела бы в такой печи сгореть.

Отступила болярыня.

Смолк протопоп.

Я слышала, как тает снег. Снег обращался в воду и начинал петь. Растекался узкими, весёлыми серебряными ручейками. Серебряная кровь пропитывала землю, и небо отражало ея. Все молчали. И вся Пасха Господня велико, чудно молчала.

И Солнце молчало; оно просто и чисто горело белым, ясным огнём.

Опять разлепил уста протопоп.

Я челобитную Царю писал! Што безмолвствуешь, Царь-Государь! Протопоп Даниил помогал мне, тот, што из Костромы на Волге! Пошто ты, Царь, и вы все, Царёвы слуги, и ты, первейший ево слуга, Патриарх, мне не ответили ни слова, ни полслова! Заткнули рты, и всё! Выкинули чернило своё в окошко! Изломали в сердцах перья гусиные! И дело с концом! А я-то ждал... Ждал.

И не дождался. И с глаз ваших долой! И из сердца вашево вон. И ушёл литургисать из Казанского собора в сараюшку, серые доски, ибо во Смутное времячко и конюшни драгоценней храмов глядятся!

А вы мя схватили... в кровь излупили... живаго местечка на мне тогда не нашлося... и бросили мя в сырой смрадный подвал, в подземелье монастыря Андроникова, и посадили, яко медведя, на цепь... и я тамо во тьме, во мраке крошечном чуть не ослеп... и швыряли вы мне вместо обеда людсково чёрствый, плесневелый хлеб... ну, да хлеб всякий свят... я ево грыз да мыслил так: нету, нету дороги назад... Церковные slo-мы! Книжные надломы! Ах, соблазн грандиоз-

ный, Никитка-мальчонка, брадатый охотник за верою новой, Царские хоромы... И соблазн — каждодневно баять с Царём о том, о сём; и Ангел не стоит молча у вас за плечом; и об чём та беседа, невозможно мне ведать, и никому о том нельзя поведать; всё тайна, словеса случайны... а поля, где умирают люди под лезвиями да на кострах, холодны и бескрайны...

Не евши, не пивши в подземелье сидел... сердчишко билося всё тише... зато глас Божий внутри себя всё яснее слышал. О чём мне провецивал Господь? То не скажу вам. Я ж для вас отрезанный ломоть.

Никогда не отступлюсь от Истины. Никогда! Даже и в посмертии. Истина, она тверда. Она лишена гордыни. Но крепка, железна она. Она светится ярче скиний. Безбрежной Огня Благодатного. Жарче сна. Я тя браню, Патриарх! Не испытую пред тобою страха. Хоть тащи мя на плаху! Я сам себя предаю огню, сдёрну на снегу исподнюю рубаху, а молиться по-старому буду сто раз на дню. А мя — за космы дерут, в рожу мне плюют, плетью наотмашь бьют! Под рёбра кулаками пихают... синяков по телесам наставляют... Эх, вы, пыталышки! Разве ж помните вы, што страданье мученику — высшая награда? И в памяти людской страдалец завсегда остаётся. Он — звезда на дне колодца! И мученику венца не надо; ему вера — надежда, ему смерть — отрада. Так и Христос на Кресте завещал; в руки Отца Небесного дух Свой предал. Ты, Никитка, хотел мя расстричь! Веры опричь, Бога опричь... заступился ты, Царь мой, за мя... горчит на губах, в кровь искусанных, Царская тюрьма...

И што, Патриарх? Што, Царь? Вы мя в Сибирь сослали. Тако же бичевали! Тако же пытали! Да Сибирюшка-матушка мя спасала... осетры, таймени, стерлядки, по январю звонкие колядки... от звезды до воды милые Святки... Вкусил я Тобольский острог, вкусил Енисейский острог. В заточеньи всяк одинок, а я пребывал там с семьёю. Зане видал в окошко острога небо высокое, голубое... Острог Якутский познал! Сиянье Северное — во все небеса — увидел... Сиянье, начало всех начал... Звёзды, и ночь, и Бог, и молитвы шёпот, и вьюги вой и рокот... всё равно всяк одинок... всяк одинок...

Хоть люди, люди вокруг тя... а одинок ты, больно тебе не шутя... в земле Даурской наледь

и глад... думал так: уж не ворочусь назад!.. Так жёнке, Настасье, шептал чрез древнюю лодью пустою стола: зачем, бедняжка, за мя пошла... одно горе принёс я тебе... осьмеро деток с нами бегут по судьбе... слёзы и пот у мя на колючей губе...

Настасьюшка, а помнишь Пашкова злюку?.. вот была немалая мука! И я ея, безмерную муку, послушно терпел. Христос терпел и нам велел! А иногда, не выдержав, восставал. И врагов моих, истязателей, ремнём побивал! Да ведь и Христос бил торжников во храме святом — а не торгуйте душой ни на этом свете, ни на том!..

Я слушала исповедь Аввакумову. Запоминала всякое в ней слово. Говорил он твердо, тихо, сурово. На весеннем морозце всё до словечка, до вздоха и хрипа было слышать. Стояла, детьми окружённая, бедная мать. Стояла и внимала роскошная красавица-болярыня, во праздничной, блёсткой, весёлой парче. Стоял Царь, с богатой, надменною, тяжкою бармою на плече. Стоял Никон-Патриарх, плохо скрывая страх: а вдруг вымолвит протопоп то, што возожётся огнём в веках?!

Протопоп говорил ясно, внятно, горько, тихо, крепко, железно. Будьто стоял один над пьяною бездной.

С дошеника сбросил Пашков в реку Тунгуску мя и всё семейство моё! Выплывешь али потопнешь — таково было тогда всё моё бытие. А вы хотели, властители, штобы я вам во всём угождал! А я одной милости Божией, не людскою, только и ждал.

Ах, Тунгуска быстра, холодна! Ах, нету в ней дна... плыла Настасьюшка рядом со мной... детишки тонули... я бормотал: Господи, спаси, Господи, не насылай боле таково сна...

Страшный, утлый дошеник... детки малые... выплыли все мы, вытащили их всех... то Господь чудо явил, и слышал я снова деток моих плач и смех... шли по дебрям диким, по ущельям, ползли по скалам, пробиралися по буреломной тайге, по урманам... зимой-осенью-весной... а Пашков велел мя к себе притащить, да избил крепко, измолотил, качался предо мною, како хмельной... а потом приказал дать мне семьдесят два удара кнутом... и вопрошал я себя тогда: Аввакуме, ты на здешнем свете али уже на том? Только шеп-

тал себе: и святые страдали... и святые тонули во слезах... и зрел я только злобный огонь во палачьих волчьих, красных глазах...

Шесть лет моих прогорели свечою во Даурской земле. Мои тюремщики избивали меня, и трезвые, и навеселе. Нерчинск, Шилку и Амур помню, о, как же помню зело! Терпел глад и лишения, а моё Время всё шло, шло, шло и шло...

Даже не мыслил я, что вернуся в Москву! А вот же возвернулси! И стоял пред тобою, Царь, яко пред шептуном деревенским, не во сне, а наяву! Помнишь ли ты, Царь-голубчик, како вопрошал мя: ну што, нечестивый Аввакуме, усмирил свой пыл?.. И стать твоим духовником мя с виду умилённо, да с насмешкою тайной, просил...

А я — отказался! Да лишь потому, што ты, Царь, не собирався к нашему старому благочинию возвернуться! Што глаза пялишь по блюдцу?! Да, разгневал я тя вдругорядь! Да лгать ни Богу не умею, ни себе, ни тебе! Лжецов вели себе в слуги сыскать!

Пощечины како мне раздавал, неужто забьл?! как брызгал слюной... как орал, ногою топал, кулаки воздымал... мне под ноги плевал: што, мнишь, ты святой?! Сослал мя в Мезень... и там на жаре и морозе проповедовал я... и наша русская Старая Вера — вот вся моя была семья... моя Сугубая Ектенья... Ах ты, не реви, Настасья, очи вечно на мокром месте у тя... Тяжко бороться со властью... лучше, жён-ка, давай-ка ново зачнём дитя...

И снова в телегах, возках, кошевах привезли мя в Москву. И снова зрел я Град Престольный и Блаженного Василья главу! И зрел я живой позорный собор из важно надутых иерархов русских и грецких, и судили они нашу святую Старую Веру лютым судом; и вот тут-то мя расстригли, ужою выю обвинили да и прокляли во Успенском соборе за обеднею, и провидел я мои времена последние, и шептал я себе: зри, Аввакум, сей Содом...

А потом заковали мя в цепи, отвезли в Пафнутьев монастырь... так, в оковах, год продержали, и тьма была опять моя мать, и мрак снова был мой Мирь...

И што же, Царь-Государь?.. сизый ты голубок, Мономахова шапка валится вбок?.. што же, бесчестный Патриарх, Никон владыка, друг

мой Никитка, помнишь салазки наши во Григорове-селе?.. не отвращай стыдно жарково, жалково лика, хоть и мечтаеши, штобы я горел во огне, качался в петле... Вот я здесь! на Северах безлесных, безтелесных, выюжных, лютых! И Пасха моя Пустозёрская, вот она, Пасха моя! и вот моя Печора-река, инда на Солнце нельмой сверкает-блестит, играет, и душою играю с рыбою и я! Не могу проповедовать во храмах! Заказано мне! Да письма повсюду мои рассылаю, пушай люди не имут сраму, ведь за измену Старой Вере гореть нам в Геенском огне! Четырнадцать лет на хлебе да воде... четырнадцать лет... земляная тюрьма... Я дал вечного терпенья обет. Я повелел себе: не сойди с ума. Вот друзья мои, единоверцы! Священник Лазарь! Инок Епифаний! Диакон Феодор! Никифор, симбирский протопоп! Языки отрезали им, страдальцам моим, оттяпали под корень, а всё одно поём! Вдвоём, втроём, вчетвером! По-старому поём Великую Ектенью. По-старому крестим лоб. Свята в наших сердцах Старая Вера. Жива наша Старая Русь. Жива наша любовь без меры, а коль загинем — так надо, пусть! Пуст Пустозёрск без нас. Пробьёт наш час. Наша казнь — наша Пасха Господня. Сей же час! Севодня!

А я, кто ж я такой? Где ж я сей проклятый час?! Мя, яко мешок зерна, што, оставили про запас?! Господи, где я?! вот на задах старый сарай... А, Господи, я понял всё! Мя же казнили! Пришёл мой Страстной Пяток! И так шепнул я себе: што ж, протопоп, иди, умирай! Што же! умирай, час-то пробил, оказалось, мой... Шёл я во сруб, где сожгли мя, к себе домой! Дом — то дым! Огонь — родимый мой дворец! Царь, торжествуй! Веселись, Царь-отец! Радуйся, зльдень Патриарх! Эх, ты, друже детства мово! А и всево лишь кроху жизнёшки у тя просил, да боле ничево... Болярыня, вдругорядь иди ко мне... дай обниму тя хоть опосля смертушки... по такой-то снежной весне... под таким-то чистым синим небушком... под ветвями серебряных берёз... ах, Федосья, душа моя, ничево ведь не зрю я от слёз...

Обняла Аввакума болярыня. Я стояла, примёрзнув ступнями к снегам. Я теперь тебя, отченька, никому, никому не отдам. Не продам, не предам, не отрину, не оболгу. Я девчонка твоя, дальняя, ближняя твоя семья, я твою душу живу не кину костью врагу. Я огнём тебя возьму в ру-

ки, свечой поминальной, прощальной. За пазуху тебя суну птенцом! Плачу, слёзы текут лавой горячей, ну, так ведь всегда пред концом, я тоже кончусь, родимый, отченька мой, я тоже кончусь, дай срок, а где же Настасья, где жена твоя, на перекрестье каких дымных дорог, ах, да вот она, вот она плачет, ревёт и на колена встаёт, всё падает-валится, никак не упадёт, или то мне только блазнится-чудится, а сказал Христос, никто никогда не умрёт, не умрёшь и ты, протопоп безумный, не умрёт бешаный твой огонь, обняла ты боярыня, руку вложила тебе в ладонь, Солнце поджигает вас обоих, нет, всё то лишь помстилось мне, и только молось: дай, Аввакум, мне сгореть во твоём огне, дай мне сидеть во твоей земляной яме, дай молитися вместе с тобой, дай идти с тобою вместе собакой верной, упрямой над ледяною Тунгуской, над страшной Печорой, над морозной судьбой, под звёздами, а лучше над звёздами, над Солнцем и над Луной... што ты там шепчешь страстно и грозно... над боярыней... надо мной...

И крикнул Аввакум: мы там, во срубе, пели! Единогласие, Осмоглас! Мы Задостойник святой спеть успели, и сердце Бога билось средь нас! Дружно гласы сливали в моление одно! Нету страха, што скоро холодно станет, темно! Владычище, прими молитву раб Своих! Выпрос-тал я правую руку... и во пламени костра сложил во двуперстие, закинул лик к небесной тверди! Крикнул народу: таким крестом молитесь — не погибнете никогда, ни нынче, ни завтра, ни вчера! Времени нет, людие, а есть только Бог! Несите Ему себя на зимнем блюде... ибо всяк одинок... всяк одинок...

И тут вдруг я увидала, как впрямь во грязный, на глазах тающий весенний снег опустилась пред Аввакумом на колена жена ево Настасья! Встала на колена и низко, низко голову нагнула. И так стояла, не шевелясь, застывши; будто уснула. Детки столпились округ нея, как вокруг костра горящево. Как люди из будущеево толпятся вокруг настоящево. Детки клубились и вспыхивали, и таяли в синем воздухе, и исчезали, и являлись вновь. А Настасья вдруг голову вскинула да на мужа глянула; и во взгляде том душу ему вынула; и я опять в лицо увидала — любовь.

Любовь! Да! то опять была она. Велика,

страшна, сильна, слепа, нема; одна. Нет сияния на земле ярче любви. Нет и превыше, в небесах. Хоть умри, хоть живи — она на твоём клиросе, во твоих знаменных голосах. Бог поёт ею твою малую жизнь. Поёт твой великий уход. Ты уйдёшь. Не кричи. Не дрожи. Там, за порогом, Христос тоже воскрес! Себя Благодатным Огнём передал из рода в род.

Настасья Марковна стояла пред протопопом на коленах в снегу. Он положил ей руку на плечо — тако похоже недавно боярыня клала на ево плечо ея белую руку. Жена подняла лицо. Он другую руку на другое плечо ей поклал. Ея лик разрезала плывущая улыбка, улыбка-лодка, улыбка плыла и уплывала вдаль с ея чистово, печальново лица. Я подумала: вот живая икона. Не поднять на нея, яко на Солнце, смертных глаз. И ея уж намалевал на радость людям небесный богомаз.

Аввакум взял лицо жены в ладони. Держал лицо жены в руках, так держат малютку, новорождённого младенца. Нежно погладил ея щеку. Царь Алексей Михайлыч, Патриарх, детки и боярыня в жёсткой парче цвета закатново неба молча глядели на ту тихую ласку. Тихо стало во всём широком Мире; великая тишина стояла на Господню Пасху. Так тихо, тихо было повсюду. Я сказала себе: я тово никогда не забуду. Согласна всё на свете забыть, а это вот — никогда. Хрустит под сапогом тонкая корка последнево льда. Детки водили округ отца и матери тишайший хоровод. Иван, Прокопий, Корнилий, Афанасий, Андрей; Агриппина, Акулина и Аксинья. Небушко синее. Жизнь всесильная. Смертушка на груди крестом, на гайтане, крестильная.

* * *

(простите)

Я шла и держала за руку мальчика, он вышел из подвала, я его сразу увидела и поняла, надо отсюда уходить, сейчас нас тут накроет, стреляли уже совсем близко, он вышел из темноты на свет, шурился, ему глазам было больно, увидел меня, подбежал ко мне и схватил меня за руку, я крепко сжала его руку, и мы пошли. И тут начался обстрел. Мы сначала легли на землю. Лежали. Снаряды рвались, но нас не задевало, ло-

жились поодаль. Мальчик задрожал и заплакал. Я сказала ему: не плачь, прорвёмся! И мы встали и опять пошли, и вроде утихло. Идём и видим: навстречу нам идёт старик, на того священника сожжённого сильно похожий, но нет, не он, другой. И его за руку девочка ведёт, такая маленькая девочка, примерно ровесница моего мальчонки подвального, а может, даже помладше, она идёт чуть-чуть впереди старика, он отстаёт на шаг, идут медленно, и как будто не стреляют сплошь и рядом, как будто они гуляют в парке, ну, дед и внучка, вроде того. И получилось так, мы с мальчишкой идём навстречу им, они идут навстречу нам. Прямо как два самолёта в небе, сейчас столкнёмся. Старик идёт, как незрячий, вроде бы не видит ничего впереди, и девочка его вроде как слепца ведёт, осторожно, ну как поводырь. Мы с мальчиком шаг замедлили, к ним подходим, они к нам, и наконец старик нас увидел, вздрогнул, как будто проснулся, потом встал и молчит. И девочка молчит. И мы тоже, мальчик и я, встали и молчим. Так молчим все четверо. И тут вдруг опять стали палить, да так крепко, густо, в воздухе вой и грохот, я кричу: ложись! — а все стоят, не шелохнутся. И у меня такое чувство, что мы уже вроде как не на земле. А где-то в небесах вот так стоим, и друг на друга смотрим. Кругом идёт война, палят вовсю, а мы стоим и друг на друга глядим, и всё, и больше ничего. И молчим, как немые. Потом девочка улыбнулась, она первая сказала: мы на земле или уже на небе? У старика бороду сильно трепал ветер, он молчал, и я молчала, а мальчик сказал: это уже неважно, где мы, это всё равно, я очень устал от войны. И у него грязное лицо было всё залито слезами. Девочка выпустила руку старика, подошла к мальчику и вытерла ему слёзы подолом юбки. А мы со стариком на них смотрели молча. Всё, не могу говорить. Простите.

* * *

**(Аввакум и я встречаемся в Раю —
во Белом Поле)**

Белое Поле расстилалось предо мной белым посадским платком. Мальчик держал меня за руку, вёл. Я покорно шла за ним, старалась

ступать след в след. Чистейшая белизна снегов застилала глаза мне слезами и слепотой. Я видела Белое Поле; оно дышало смертью моей и снова вспыхивало будущей жизнью моей, обещанием Рая. Где же Рай, тихо спросила я мальчика. Неужели это холодное Белое Поле и есть Рай? Так всё просто. Так всё тихо. Рай, зимнее наше поле, алмазный снег; Солнце, што виснет над полем белой слепящей ягодой; звёзды, они сыплются ночью в лукошко подставленных рук, в живую миску закинутого отчаянного лица. Отчаяние! Как часто приходит в жизни оно к тебе в гости! Ты не ждал, а вот оно, на пороге. Мальчик, ответь, не молчи, это Рай или просто зимнее Белое Поле, што мы вброд должны перейти?

Мальчик не выпускал руку мою. Остановился. Встала и я. Мы стояли посреди Белово Поля, залитого ясным белым молоком Солнца, и мальчик вздохнул. И услышала я ево голос, весёлый и тихий: да, да, тётенька, это Рай. Смотри, здесь, в Раю, никогда не заходит Солнце! оно движется кругами по небу, бесконечными, вечными кругами, оно светит вечно, и снега здесь вечны; иной раз прилетают из медвежьих земель метели и воют свою долгую песню. Звучит их хор под звёздами, под небесным шатром, под широким чёрным пологом, што жемчугами расшит. Да, это Рай! Стой посреди Рая, воздух вдыхай, ветер благословляй, видишь, здесь всё как на земле! Только снега белый ковёр босые ноги не жжёт, только здесь из конца в конец прошёл твой народ, и ты пошла за ним. Я не мальчонка, я твой народ, я костров твоих сизый дым. Здесь не убивают, не стреляют, здесь только благословляют. Я тихо вздохнула: ежели это Рай, мальчик, где же здесь Бог?.. о, и Он одинок. И Он одинок! Мальчик снова сжал руку мою и пошёл вперёд, и я послушно шла за ним, ведь он был мой народ, и я была ево народ. Мы оба, вместе, были народ; на замок вечно молчания был замкнут мой прежде вечно поющий рот. Я теперь вечно молчала, я согласна была начать всё сначала, я в лицо Рай узнала, я в лицо своё время узнала, узрела чужие дальние времена, сквозь кои не пройду одна, кои преодолею, лишь народом пройду: на огонь, на звезду, и вдруг там, вдали, где Белое Поле кончалось, а

может быть, начиналось, я увидела человека.

Сначала узрела человека большою, яко высокий мрачный менгир, а рядом с ним человека маленьково; они шли к нам, приближались, я хотела ускорить шаг, но ускорила полёт моя душа: она сорвалась с моих плеч, вырвалась из груди моей, оголтело полетела вперёд, так в битве скачет конь грудью на врага, а душа летела, голубица, летела моя птица, и очи мои уже рассмотрели, кто приближался к нам.

Человек большой шествовал в рясе до пят, глаза глубоко запали под лоб, ужасом, радостью, верой, болью горят, слёзною любовью плывут, лишь любовь одну на земле знают. Большой и маленький человеки подходили всё ближе, я разглядела, кто человека большою ведёт. Девочка малая. Она осторожно, как слепца, вела за руку человека в чёрной рясе; ветер рясу развевал, рвал с тела; срывал ледяной ветер с нас все жалкие одежды, обнажая душу. Мы будем дрожать, а дрожь суть чувство. Ты испытуешь многие чувства, живя на земле. Душа всё чувствует; душа всё знает, што было прежде. И што будет потом.

Они всё приближались; девочка протаптывала путнику тропинку в снегу.

Подожли ближе, я увидела: они брели не по снегу. Нет! они шли поверх снега, так, как Господь наш невесомо ходил по волнам Геннисаретского озера. Медленно шли и мы им навстречу. Мальчик шурился на Солнце, всё сильней сжимал мою руку, до боли. Я хотела вырвать руку и не могла; я согласна была терпеть боль, я согласна была босыми ногами по снегу идти, по всему, сужденному мне на веку. Всё ближе и ближе, из-за слёз ничево не вижу, я вижу тебя душой, отче мой, и вот мы встретились в Белом Поле, в доме вечного дня, на кромке белого огня, в Раю, што нам суждён на грани белых пелён, на грани иных времён. Я глядела на личико девочки... громадные сливы ея глаз, они меняли цвет... становились то синие, то смоляно-чёрные, то лиловые, то зелёные. Лазоревые очи, лазоревые, потусторонние, Эдемские, в пол-лица. Очи глядели на меня, в меня, и сквозь меня; по плечам девочки вились, летели по ветру русые волосы, тончайшие, нежные, нити летние, тёплая солнечная паутина средь зимы; стояла она предо

мною в рубище, босиком, в заштопанном дырявом мешке, жилка синяя билась у нея на виске. Девочка держала за руку протопоба, мальчик держал за руку меня, нас четверых заливало молоко белово дня. Девочка, ты чья, спросила я тихо. Девочка звонко крикнула мне: я всехная! я для всех! Аввакум судорожно, как после плача, вздохнул. Тихо ответил: боле не спрашивай ея ни о чём, Она Богородица, только ищо дитя, Она сама об этом не знает, а отец и мать Ея, Иоаким и Анна, опрометчиво отпустили Ея гулять по временам, вот добрели мы с Нею до тебя, дочь моя, здравствуй, сиротское время дочери моей, как жила ты тут, доченька? Как страдала, али как радовалася, как праздновала, как слёзыньки лила?.. ведь и Ангелы Божии тоже плачут.

Так стояли мы друг пред другом, девочка против мальчика, мальчик против девочки, стояли и молчали. А што же нам было друг другу говорить? всё уже было сказано века назад. Зачем мы встретились на земле? Да мало ли людей встречается и расстаётся! люди встречаются в одном времени, а расстаются в разных временах... мало ли людей друг друга не понимают, шепчу себе, ну, на земле не поняли мы друг друга; так, может, поймём в небесах?

Протопоб ожёг меня глазами, я ждала, што он спросит меня.

Я стояла и ждала. И дождалась.

Он задал мне вопрос, один-единственный.

Скажи мне, дочь моя, како без меня на земле ты страдала и како радовалась, ты и тогда уже дочерью ветра над землёю летала!

Будьто ветер вселился в меня. Ветер обезумел. Он хотел столкнуть с ног, сломать меня, протопоба, мальчонку, девочку Богородицу рядом с Аввакумом, взвихрять снега по Белому Полю, ломать землю, разламывать надвое небеса, ломать и крушить времена. Ветер Раскола! Он пытался оттащить нас друг от друга. Кто был тобою безмерно любим, ты никогда не узнаешь! Века назад ты, несмышлёнка, покинула ево, отца твоево, и ушла за ветром, за радугой!

Я сильно страдала, с голосом не совладала, отчаянно закричала. Я старалась ветер перекричать, Раскол перекричать, чужую волю, што нашу волю гнула, била и ломала. Протопоб, ведай, я так страдала! Люди бичевали мя,

шпыняли, прочь швыряли, дразнили, последнее платье сорвали, опять смертно били, мне рёбра сломали и пытались из меня сердце вынуть, моё бедное вечное сердце, што во имя Твоё, Боже, бьётся, што Тебе и огню Твоему принадлежит! Меня обманули, меня прогнали взашей, плюнули мне вослед, крикнули: иди, скитайся по земле, ты нам чужая, ты занимаешь наше место, ты живёшь нашу жизнь, а мы в отместку хотим сожрать жизнь твою, да штобы твои косточки у нас на зубах захрустели! а коли хочешь ты жить, беги прочь от нас! Странствуй, броди, одинокая, по великой земле, но не приближайся к нам на пушечный выстрел: мы одни, и ты одна!

Вот так, протопоп отченька, обидели мя и убили мя, я ушла одна, никому не дочь, не сестра, не жена. Ветер дул мне то в грудь, то в спину, и так я шла, и встретился мне мальчик на пути, он сказал: мя звать Аввакум; я поняла: так то ты, ты, отченька, только малютка, а я... я мать тебе, вот и матинойкой на земле родимой я стала, благословенье Божие со мной!

Я схватила мальчонку за руку и пошла за ним.

Или то он меня за руку взял?

Как я могла за тобой не пойти? Разломали хлебом-пирогом, разорвали горбушкой ржаново наши бедные времена. Давай съедим их вместе, сядем на алмазном снегу, у меня с собою за пазухой последний хлеб, я телом грею ево, на, старик, возьми душу мою. Отче, ешь!

Я уселась у ног ево во снег, и пушистый снег облаком держал мя на себе, и не проваливалась я в сугроб, и сел мальчик, поводырь мой, рядом со мной, и наблюдал, как я протопопу хлеб на ладони тянула. Наклонился протопоп, осторожно хлеб из руки моей взял, будь-то голубя, вот-вот сей час подбросит в небо, в Солнца свет. Хлеб сам был Солнце и испускал белые лучи. И протопопа старый лик сиял. Так сидела в сугробе. Сел и протопоп во снег, а девочка Богородица не садилась, стояла, весело, ласково глядела на нас. Отломил протопоп от каравая кусок грубыми кривыми, во шрамах, пальцами. Малый кусочек отправил в рот, жевал. Он ел, а глаза ево мне улыбались. Они уже не прожигали мя Вселенским огнём, они смеялись навстречу мне, смеялись от радости и любви. Улыбнулась и я, засмеялась и

я, улыбнулся мой мальчик маленький, Вакушка, улыбнулось нам небо, смеялось и катилось по небу белое Солнце, смеялось Белое Райское Поле, где же Райский Сад, молча спросила я батюшку Аввакума, где же деревья Эдемские с золотыми и алыми, сладкими плодами на их ветвях, с мандаринами и яблоками, персиками и сливами, вишнями и крупной лесною ягодой иргою? где всё это, счастливое, мгновенное?.. лишь белизна, лишь чистота, больше ничего. Неужели в Раю больше ничего нету? Ужели в Мире, кроме Рая, ничего боле не осталось?

И ответил мне Аввакум: да, боле ничего, окромя Рая, нету на земле. Нету, да, нет боле людских войн, и никто боле не засыпает вечным сном; ни над кем боле поминальные слёзы не льют, а есть только Белое Поле, алмазный снег, яркое Солнце, синее небо, крепкий мороз, чёрствый хлеб, твоя улыбка, моя любовь, твоя душа, моё сердце, моё слово, твоё молчание. В том жизнь моя, весь Рай; так цветёт, растёт Райский Сад, так достигаем ево, добредаем до нево, без сил падаем у древняных и многоцветных, мандаринных-смоковных, душистых-ароматных ног ево, немые от немыслимово изнуренья. Не нужны нам ево алмазы и самоцветы! наземь упадём, вверх, в небеса, глядим, разбросаем руки на снегу, а там, наверху, белое Солнце, спит оно не наши зеницы, а наши сердца. Зачем плакать? Улыбайся! Зачем страдать? Радуйся! Радуйся, дитя моё! Радуйся, девонька моя! Радуйся, Богородица моя! Радуйся, скиталица моя вечная, безконечная! Думаешь, смерти нет? Она есть, но ведь и мы есть тоже!

Он держал на суровой корявой ладони кроху скитальново ржаново хлеба, улыбаяся, нежно и слёзно глядел на меня. Богородица обжигала широко распахнутыми небесными, прозрачными очами белую ойкумену нашево Рая. Гулял, пел ветер. Я вздохнула, хотела вымолвить слово, да молча вылетело оно, вдохом и выдохом, из бедной моея груди, и нежным шёпотом, сама не услышала ево, воссияв во облацех, пропела синяя птица широково неба, раскинув над нами широкие лёгкие крылья: ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

* * *

(Победа)

*Люди мы победили мы нынче во славе и силе Мы
жизней отдали много за наш народ нашего Бога
Расстреливали пытали сжигали и бичевали А
мы в небеса шептали жив Господи ты жива ли
Платили мы за Победу последним бредом и жа-
ром и волком идущим по следу а вы-то думали
даром Ну вы враги расступитесь Победа идёт
сияя ступает по снегу витязь Победа она живая
Вы сгнули злые люди ты сгибло чёрное племя
Несёт нам Солнце на блюде Пречистая — надо
всеми Вставайте все на колени помянем навших
героев Огню иных песнопений я музыки дверь
открою В земле подо льдом и снегом сражённые
тихо спите Как трудно быть человеком зерном
во Божием сите Мы этот Раскол незрячий сил-
ками любви шиваем Там кто на могиле плачет
и мёртвые мы выживаем И мёртвые взводом ро-
той шеренгою и колонной встаём волною народа
земное разверсто лоно Земля родная с тобою по-
лынь горящего слова Земля нас отдаст для боя
последнего неземного А песня-то льётся кровью
и кровью слова застыли Войну последней лю-
бовью люди мы победили*

* * *

(Аввакум, я и Псалтырь)

— **П**омилуй, Господи, помилуй всех, по-
милуй плач наш, помилуй смех. Все
мы в недоумении пред жизнью нашей: варится
яко снежная каша. Молитву Тебе творим: на ка-
ком языке? Да зверем ли, Ангелом ли возгово-
рим, грешники, Адовы приспешники... В какое
лукошко грехи собирать незримо, не понимаем,
а лишь Тебе ночью не спать, лишь на Твоих
глазах, Господи, помирать. Помилуй нас, Гос-
поди, помилуй нас, всякое мгновение, всякий
час, даже когда мы, люди, забываем Тебя. Што
глядишь, отченька Аввакуме? вот такая судьба
пророка, таково твоё торжество. А может, я и
есть пророчица, а мои снега за мною горностоя-
ми волочатся, а небо не храм Господень мне по-
казывает, а небо пояс мой ромашковый развя-
зывает... а небо вдаль горе швыряет моё, но мо-

розе с вервья сорванное бельё... Ангелы Божии
ликуют, мя прямо в щёки алые целуют! бормочу
все молитвы пред битвой, пред кровавой ловит-
вой... Господи Христе! управь Ты в Мíре нашу
кончину и наш живот; а до свадьбы ужас наш
заживёт, поём Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава
Тебе, Боже! А где же Богородица, Господи,
твоя? вот человеки простые смиренно стоят, а вот
стоят святые, и как отличить? а Богородица
всем Заступница. Где Божия Матерь, где белое
узорочье, камка-скатерть?.. не проклинай нас!
Радужный венец, самоцветы, инда огни небес-
ные, играют, и всяк из нас пред очами Твоими,
Пречистая, помирует... При Тебе, Мать, век
обитает душа моя; а кто такая я? зачем на земле,
для какого незнамово бытия?.. выжимает баба
на речке исподнее мокрое... в корзине ея моток
вьюжново белья, клубок снежново бытия... а в
лесу за спиною — торжество зверья, песня бед-
ново соловья... единая, Благословенная, на мя
гляди, очей не своди... Севодня пробил час, ко-
му уходить со земли в первый раз, кому уходить
в последний раз; больше не вернёмся. А чем
клянёмся? душою, сердцем, болью, любовью?
Господи, Царю Небесный! прикинь к моему
изголовью! А в изголовии у мя метели, снега,
поля, спит под покровом смерти звёздная Ма-
терь-земля. А по весне она оживёт, заклюбятся
зеленя-дымы, защёлкают птицы, зазвенят
ручьи, любимые мои, весенние... под золотыми
деревьями осенью буду стояти, плакать, мо-
литься, в небесах наблюдая любимые лица. Гос-
подь и Богородица! так плачу при народе я, а ты,
Аввакуме, про што мыслишь, про Троицу Свя-
тую? целуй образ ея, и я поцелую... спой мне
песню, яви любовь твою... А я постою у твоей
любви на краю.

— Милая деточка! душа моя по тебе болит. А
тебе песню сию говорю: да осенит тя Всесвятая
Троица рукою своею. Боже великий, Царю
Мíра всево! лети, пари над нею, над девчонкою
малой, над бабой безумной, над старухою, што
ковыляет по дороге, сбивая ноги в кровь: где ты,
где ты, любовь? О ней лишь пекуся и рыдаю я.
Она вся жизнь моя. Не кончены, Господи, дела
мои на земле благие. Вот девочка эта тихо идёт
по лугам и полям, идёт, весёлая, ромашка, сор-
вана прежде Раскола... василёчки во ржи вспых-

нут-сгаснут, нежные, синие... идёт, неприметная, а такая красивая... девочка сия есть книга; открою тебя, Святы́й Дух устами твоими глаголет, аз, недостойный, гляжу на тя, припадаю к тебе, у тебя, дитя, помощи прошу, едва дышу. Господи, не отними ея от меня! она ведь мне язык вечново Огня, она язык мой и мой народ, я без нея никто, железный лёд. Народ веселится: новые казни! бежит на площадь, глядеть без боязни. Кто готовится на творение добра, а кто в застенке плачет до утра. Кто ловок цепким умом, просвещённый, а кто с родины изгнан и навеки непрощённый. Господи, да Ты ведь простишь всех грешников Твоих! замер их дух, занялся их дых! ныне, Владыко, благослови всех! воздохнул ветер... сердцем вижу смех... сердцем слышу боль... сердцем Царю поклонися, Царю Космосу! музыкой мощной встал на пути... все самоцветы в короне ево сочти... Знаю наизусть, ведаю каждый алмазный цветок, узнаю смарагдово пыланье без дна, а девочка, она не Царевна, она идёт одна, одна плачет по всех, яко вся страна, страна от Раскола, слышишь, устала... сотвори всё сначала! Пусть народ песню едину споёт! Реки блаженно из Ада в Рай текут, любовью согреты... Ты отправь, Ною подобно, птичку в полёт: лети, дитя, на все стороны света! Ярко птичка сверкает крылами, хвостом... летит на этом свете, на том... ледоход твой, ледолом, нынче и навсегда... людские рыданья... разрушенные, сожжённые города...

— Погоди, родной, постой на краю! дальше не ходи, отченька мой, боли прибудет... не ходи к этим людям! Они убьют тебя! Не становись на пути грешных; хоть ты огня господин и чист пребудешь в Мире один, тебя всё равно смешают с грязью. Ты же древо! Ты раскидываешь ветки, под тобой поёт вода, утекает без следа, на руках твоих висят плоды, плоды твои золотые... во имя воды, во имя беды, живые цветы... дай сорвать... А время ишо не пришло... дай мне надежду... а это хрупкое стекло... лист опадает, лист по ветру улетает, гляди на мя, отче, пока время тово желает... Ты же мя учил: нет времени, нет! на всё у тебя был один ответ! ты сказывал: мы варимся в одном котле, в одном небе, на одной земле, а Царь Космос только глядит на варево, на жареву, на струение крови, лжица в ево руке

наизготове, а нож во другой, и то скипетр и держава. Трепещите, нечестивые, жалкие, несчастные, яко прах, подхватит вас вихорь от лица земли, помнёт, согнёт вас в колесо, бешаная буря взметёт и бросит, изошедших ложью и злобою, на Суд. Грешники! Да вы же тоже жить хотите! Прости их, Господи, не ведали они, што творили, не ведали, што прорастает свежая трава на забытой могиле... Скажи им, отче, штобы повёл Господь грешников путями праведными, и не вернулись они на пепелища свои. Молюсь: да погибнет зло! и жалко мне зло, и больно глядеть на нево, и понимаю: злые люди польннно, горько живут на земле, страдают. Успокой их, яко лекарь, знамением крестным их осени, продли их дни, не обмани.

— Шатаюсь я по земле, дитя моё, таково моё наказание, такова моя награда. Ангел рек мой в ночи об том, што не стану никогда я земным Царём. Да и не хотел тово делать вовек, да и не вправе ни по рождению, ни по чину, а князья да бояре собираются округ мя, а Царь смотрит на мя исподлобья, дарит своей нелюбовью. А Никон? это же мой шабёр, мы вместе, мальчонками, видали лес родной и снежный простор; на салазках вместе с горы катались, салазки под нами трещали-ломались, Мирь для нас раскрывался снежным городком, алмазным теремом... Живый в помощи Вышняго надели родители на нас чёрные пояса; а там письменами древлими золотится краса: молитва развышита, бабки наши ея вышили, штобы внуков, нас, от беды спасти и сохранить. Господь не только добр, но и сердит, Господь умеет и гневаться, и смеяться, зрит грех человеческий Господь, и ништо тайное, злобно сотворённое, не отвертится от Нево; яростью Своею сметёт Господь с лица земли народы, грады, веси и нас, грешных. Вот я стою, а предо мною Царь, Царь земной; а гляжу и вижу Царя Небесново, и вопрошаю так Царя живово, Алексея Михайлыча: где ты сево дня стоишь? Мнишь, во дворце? Ты ведь стоишь посреди Руси. Изреки слово мощное, крепкое, каковое изрекает с небес Господь, прогреми громом с молоньёй, роди нам наше грядущее, где смерти не будет. А Царь мой так ответствует: я не Господь, ты мя просишь, а я не в силах испол-

нить просьбу твою. Держу я в руках скипетр, жезл железный, позолоченный, держу державу круглую, яко ягода лесная, яко яблоко тяжёлое в зелёных ветвях висит, жарким летом поспевая. Земля наша! Созрела, поспела! К чему? к смерти? Не могу я народ мой судить и рядить. Не судия я ему. Неподобный я Царь, видать. Работай, Аввакум, Господу нашему со страхом, и радуйся ему с трепетом сердца. Я для тебя яко Господь, тако рек. А я ему: неправду баешь, Царь-Государь! не ты, а Господь надо всеми Царь; Он тебе прикажет, и распрощаешься с жизнью; мне прикажет, и я погибну. Я хочу быть праведником, но не всегда им быть смогаю, и разгорается надо мною красною печью ярость Господня. И все мы блаженны, кто надеется на Бога нашево, это одно, што нам на земле остаётся.

— Господи, ты видишь нас тут вдвоём. Господи, зима объяла нас. Стоит и мёрзнет отче мой, отченька Аввакум. Народы восстают друг на друга, народы восстают на Господа своево. Нет спасения от войны али змеи; нет спасения даже в Боге, ибо слаб человек; и всё равно мы к Нему припадаем, к Заступнику, к Ево любви, к Ево славе. Он возносит нашу главу во скорбях; Он поднимает нас, жалких червей, до небес. Небеса святочны! Небеса Троицыны! Небеса Рождственны! Небеса Покрова! Сколь праздников на земле, сколь голосов ко Господу нашему взывает, и слышит Он нас в горнице небесной Своей! Устанет Он, яко человек, и возляжет почивати, яко человек, а потом восстанет, и я встану. Раскрою глаза и увижу в небесах Господа моево. А на земле, отченька мой Аввакум, не убоюсь злых людей; люди хотят напасть на мя, пожрать мя, убить мя, но благословляю я зло их. Воскресни, Господи, сево дня, яко во Пасху Твою! Ты каждый день жив! Спаси мя! И не только мя, Боже мой, спаси, а порази всех враждующих, всех воюющих, копьём любви Твоей! Хищные зубы грешников земных сокруши, руки-ноги, рёбра и лбы их в кровь разбей, а опосля поцелуй, брашно протяни им на ладони, пусть вкусят Тело Твоё и прослезятся от счастья. Ежели есть наказание Твоё, так есть и прощение Твоё; есть спасение Твоё и есть благословение Твоё.

— Милая деточка, дитя моё! Это ведь Господь призвал мя однажды! я не предам Ево, я повторю правду Ево. Я с радостью претерплю боль мою и страдание моё ради Нево. Воля Ево не знает границ. Он слышит молитву мою. Дитя моё! вопросы грешников: доколе пребудете вы злобные, ненавидящие? тяжелы ваши каменные сердца. Вы ищите лжи там, где сокрыта правда. Дитя моё милое, Господь услышит мя! Всегда зывай к Нему, Он наш общий отец. Ты можешь гневаться, грешить, непотребничать, рыдать и хохотать во пьяных кабаках, но поднимешь лице своё ко Господу, узришь Ево в облаках и пред Ним покаешься, ибо нельзя человеку без покаяния. А правда больней калёново железа. Правда, то жертва. Правдивых не любят, правдивых бьют и гонят, и толпа вопит тебе: прочь!.. и ты идиши прочь. Господи, пошли с небес веселье в сердце моё! хочу с робёнком, доченькой моей названной, вкусити от плодов земных; вкусить хлеба из чистово зерна, изо пшеницы наливной, отпить сладчайшево вина, умастить хлеб елеем, и елеем же чело своё и уста голодные, дрожащие помазати. Я хочу, Господи, уснуть так, штобы под Твоею улыбкой проснуться птицею во гнезде, и улыбка Твоя станет мне в радость, даже если пробужуся в слезах. Пусть лице моё всё будет залито слезами, я знаю, што есть Ты, и мне тово довольно. Дитя моё! Радуйся вместе со мною.

— Я не знаю никаких слов, я говорю сбивчиво, прости, отец. Прости за безумие моё. Господи, разумей мя, ибо я сама себя не понимаю; внемли гласу моему, молитве моей. Я молюсь Тебе утрenne и вечерне, ежечасно и ежеминутно. Когда говорю завтра, это значит, я говорю: завтра Господь мой узрит мя. Когда говорю вчера, понимаю: вчера Господь мой помог мне и поддержал мя. Ты не хочешь беззакония, ты не желаешь лукавства; пред очами Твоими встают Твои люди: кто набедокурил, кто обманул, кто жестоко друга убил, кто повёл на соседа огромное войско, и реки крови опять воедино слились. Где закон? А где беззаконие? Я всево лишь простая девчонка, я не знаю, как глаголати мудрость. Зато я знаю, как льётся кровь округ мя; она лилась и у мя, из раненых рук, из прободённых ног, лились по лицу со-

лёные красные слёзы. Господь, прошу милости Твоей! храм Твой дом; поклонюся святому дому Твоему. Претерпел Ты много страстей, Но прошу, наставь неразумное время великой, неизбывной правдой Твоею. О, враги! А што враги? Враги всегда были, есть и будут, и хотят отверзнути уста, штобы слово вытолкнуть наружу, в жестокий Мирь, да не звучит из уст их истина Твоя, Господи, ибо сердца их суетны, и, яко гроб повапленный, отверста древняя глотка их. Искусно умеют они мстить, умеют лицемерить, лицедейно могут притворяться тем, чем не являются они; только Твой суд Божий над ними. А я, кто я такая? несмышлёнка, безумка, то ли девчонка, то ли старушонка, иду по земле, вдыхаю ветер, не стараюся никою огорчить, уповаю на Тебя. Возрадуйся, Господи, на небесех! Всели чудо Твоё в мя, и буду похвалиться я милостью Твоею. Благослови мя, грешную, как благословляешь праведников радостных во Светлый Праздник Твой. Я позади всех праведников, малая, грешная, тихо во храме встану. Повенчай мя благоволением Твоим; увенчай мя звёздным венцом.

— Господи, не гневайся на мя, Господи, не выказывай мне ярость Твою! довольно Ты наказывал мя гневом Твоим! молю, помилуй мя сево дня! Господи, я немощный, я слабый, исцели мя, Господи, от великого страдания моего! Я люблю: вот моё страдание, я дарю себя людям: вот моё упование, душа моя смятенная, доколе мне так мучиться, рядом со мной девочка, а может, старушка, нет времён пред лицом Бога, и для нея рядом со мной тоже нет времени; обрати, Господи, лик Твой к нам, избави душу мою от сомнения и тьмы! Спаси мя, уповал я всегда на Тебя. Любимые мои со мной. Настасья, жёнка моя, болярня, питомица моя, и вот эта девочка, имени ея не знаю, Господи, знаю только одно: когда помру, она одна придёт на место казни моя лютой, на кострище, мой пепел собирать. Сберёт в мешочек, ею пошитый, в кiset холщовый. Держит мою смерть; да в ея руках смерти моей нет. Она исповедует мя Тебе, Господи, живыми, нежными устами своими. Она единственная, Господи, воздохнёт обо мне ночами. Не приходит ко мне

сон, не посылаеши ты покой мне, Господи, а посылаешь слёзы одни; и постелю мою и подушку мою, што под головою у мя снулоу рыбой лежит, слезами моими омочу, и вмиг мокра холстинка, инда в реку подушку окуну. Такова она от слёз поутру мокрая. Пребывал я в ярости в жизни длинной, бывал я зол и гневен, многажды в судьбине я нагрешил, со врагами моими люто сражался. А теперь не хочу сражаться. Отступите от мя вы все, што творите ужас, гибель и беззаконие, ибо слышит Господь плач верново сына Своево, слышит молитву моё. Детонька, ты слышишь? Бог мою молитву принял в сердце Своё. Да устыдятся нечестивые, и зальются краскою стыда все враги мои, да опустят долу лица свои, да заструятся из глаз их слёзы, якоже и у мя безсчётно струятся. Слава тебе, Боже мой, Слава тебе.

— Господи Боже мой! Спаси и сохрани отца моего Аввакума, вложи в ево десницу правду, а в ево шуйцу оружие, коим он зло победит. Избави ево от врагов, даруй ему жизнь вечную; ему суждено умереть, как всем, да Ты воскреси ево, Господи, чем хочешь воскреси: гневом Твоим, любовью Твоею! Восстань рядом с ним, Господи, ведь он мой отец! Муж, сын, брат, исповедник! В Духе ли, на земле, в небесех — равно уже мне! Ты, Господь, судишь людей; суди мя как хочешь, накажи, казни, а ево, отченьку моего, оправдай! Я знаю, Господи, Ты не умеешь злиться. Днесь кончается злоба грешных, но испытай, Боже, праведника Твоево. Испытай ево сердце, ево утробу, ево мысль, ево дух; вынослив он к морозу и жаре, и казни не страшится. Обласкай ево! Забери ево, Господи, от смерти, како повелел ты ученику Твоему любимому: хочю, штобы он пребыл, доколе Я не прииду; и тогда мне, девчонке, не страшно будет умереть. Зачатие, страдание, болезнь, роды, распрю, замирение, погребение — всё я видала на земле, чрез всё прошла. Все мы сойдём в ямину земляную, но отца моего, Аввакума, пощади: ведь он не только слуга Твой, Господи, он тайный Царь Мира, он и есть Царь Космос, это я Тебе, всевидящему, тайну сию наново открыла. Дай мне знак, Господи, што Ты услышал молитву мою.

— Господи, я давно уже превыше хвалы и ху-

лы. Равнодушен я к великолепию земному, но люблю я, Господи, великолепие Твоё превыше небес. Старик я, а может, младенец, гляжу на врага, а вижу в нём родню. Гляжу в небеса, вижу там дела духа Твоего, Господи, и рук Твоих рабочих. Луну и Солнце, звёзды и земли иные, ведь это ты их родил, а человека помнишь? первою на земле человека помнишь?.. как Ты любил его, рождённою из праха, из глины, и как Дух в него вдувал... помнишь? как выделявал Еву из Адамова ребра, помнишь?.. как венчал смертное чело то царством, то убийством? Овцы и волы и ослы человечьи, скот весь человечий, птицы небесные, коих человек приручил, в клетку посадил, в сарай; рыбы колючие и усатые, и со златою чешуёю, и в костяном панцире, и во пятнистой парче нежной кожи, што проплывают по долгим рекам из царства в царство, из водоросли в водоросль, из хрусталя во хрусталь, и ловит их человек, штобы уху в котле на костре сварити, на чугунной сковороде белорыбицу в масле изжарить; всё живое движется, стремится, дышит, наслаждается и издыхает, хоша и от руки человека, рыбака и охотника, да под незримою сенью длани Твоея. Чюдно имя Твоё, Господи, по всей земле! Взираю ввысь, на звёздную славу Твою, хочу быть пред лицом Твоим праведником, да тяжко то даётся душе. Мышь я пред Тобою, букашка мелкая, рыба чешуя со хозяйкиного ножа. А где главу преклоню я, грешный, то зной, то хлад, а я всё иду, иду, Господи Боже, открой мне объятя Твои! Ты видишь, согрешил я пред Тобою. Но я же и покаялся. Девочка рядом со мной. Какое счастье, што она рядом со мной. Ведь она, Господи, муносица Твоя. В руках, на морозе красных, огонь несёт. Ярко огонь светит, далёко. Так виден Дух Твой, Господи, что Ты вселил в нея. Она не спит, бодрствует, она наблюдает звёзды небесные, наблюдает ход Луны; наблюдает, как сплю я, усталый, при дороге. Сказано было во Святом Евангелии Твоём, Господи: бодрствуйте и молитесь; часто молчит доченька моя, сомкнуты ея уста, молится она неслышно, я читаю письма ея молитвы во сне ея. Оба мы, Господи, воссылаем Славу Тебе: Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

* * *

(тёплый хлеб)

Мы втроём шли по дороге, снег едва сошёл, трое нас, монашка из ближнего монастыря, баба, многодетная мать, двух малышей на руках держала, а шестеро, или пятеро, не помню, нет, вроде шестеро за ней бежали, ну, и я. Монашка говорит: батюшку нашего, из храма Симеона Столпника, вчера казнили. Я спрашиваю: как, кто? Она сказала, что распяли и сожгли. Я говорю: так я того батюшку знаю, я видела, как его казнили. Монашка мотает головой: как это ты видела, всё ты врёшь, как могла ты видеть, а я ей: вот так и видела, я там была, и меня самоё там чуть не убили. Тут баба оборачивается ко мне, у неё лицо белое, как простыня, и говорит страшным голосом: так это же, девочки, муж мой, я же попадья, мужа моего вчера сожгли, и говорит, где, там-то и там-то, и на детей показывает, так это вот наши дети. Я так и ахнула. А монашка так же шла вперёд, только лицо у неё стало такое застылое, как изо льда. Потом она губы разлепила и говорит: батюшка за веру пострадал, он теперь святой. Мать многодетная, ну, попадья, идёт, ревёт, лицо ладонями утирает. Детки за подол её хватаются: мамка, мамка, не реви, ну что ты! Мы же все у тебя живые! А одна девочка идёт и плачет, как мать, так горько, слёзы всё текут и текут, носом шмыгает, потом говорит: мамка, а батя теперь на небесах, да? Да, Грунюшка, да, рыдает мать, а монашка лезет в заплечный холщовый мешок, достаёт оттуда круг ситного, шепчет: ещё тёплый, ломай и ешь, не стесняйся. Ешьте все! И мы остановились все и ломали тот хлеб, и правда, он был тёплый, будто только из пекарни. Я сказала: давайте знакомиться, бабы, что ли. Мать сказала: я Настя. Монашка сказала: я мать Феодора. А я стою, молчу, жую хлеб. Настя спрашивает: а ты что молчишь? У тебя что, имени нет? Я сказала, как меня зовут, и тут начали стрелять, и мы побежали, а дети заорали громко, бегут и орут. Никому не хочется умирать, вот никому. И никогда.

* * *

(Исповедь моя. Демество)

Песнею распотешу вас малиною, птичьей, зело зимними фьоритурами изукрашенной. А то и посконной, железной, опричною, суровым, на ветру, стягом башенным. Я творила мои деяния — непотребная, невеждная раба Божия!.. — а нынче Демеством на покаяние иду по Времени, инда по бездорожию. Отцу да Сыну, каюсь, не весь век поклонялася. На чужедальнее, дрянное веселие зубёшки скалила. А вот оно, житие, — было-было да тихонечко истончалось, да душа с телом незримо расставалась, да то мне на ухо не наборматывала, мя не печалила. Ах, паутина судеб!.. Арахна тя вяжет усердно, со крыши крыльца гирькой свешивается. О, полынный мой хлеб, горчащий жёлчию рыбною... Я сама себе — в небеса — злачёная, шаткая лествица, во Иаковом сне живая, не погиблая... А эта музыка... што она?.. она во мне гудит, изначальная. Она таково же сильнейше гудела красною печью и при моём рождении. Да што там — при зачатии, я зрела ево, беспечальная, как зрит хозяин зерно в повети, голубя в клети, хворое наваждение.

Вся внешняя хмарь, людие мои, ничтоже суть. Я тихо бредуща к обрыву моему, а сама то в Эфесе, то в Афинах, то во Стольном Граде живая, невредимая. Везде живу, да всех люблю, побивают мя как-нибудь, а я лишь утрюсь: боевой я гусь! — да и мимо, мимо я... Узнала-уведала слишком позднечко я, што в Мире есть и тля, и прельщенье-пагуба, што проклинают иные горлышко соловья, обламывают твои кровеносные ветви-паветви...

А то любовь, мои милые, слух склоните, моё Демество, то мои крыла, перо к пёрышку, разлетаются! Вширь и вдаль, ничево не жаль, влет и высь, громче молись, твоё торжество, — да в колодец лица моево не смотрите, ведь не святая я! Не со скиптром в руке! Не с нимбом золотым на башке! Не на арфочке нотой душонка играется! А тает мой велий слух, а пою-восклицаю за двух, а жизнёшка моя на ныне и присно и во веки веков — разымается...

Было дело — робёнком кудлатым жила. Всё по

улкам каталась, созвездьева мгла. Всё салазки визжали по морковному снегу полозьями. А шубёнка — кочан!.. а орала я по ночам!.. то музыка мне глотку жгла мотивами грозными... Солнце во мрак претекало, и во кровь — Луна, и у матери я моталась одна, и в полудне в зените зрела я звёзды чернеющи... алмазны — потом! и потом суп с котом!.. это зелье из ложки, над бредом и жаром реюще...

Не желала бы я моё детство вернуть, да ведь всяк из нас пускается в путь от той печки, што дровами топится, а книжонкой — в войну, инда клонит ко сну, враг-то жив, да Господь не даёт озлобиться... Нет! всё вру! детство, дом мой на слом! вспыхни ты Демеством! Мне пропой всех пропойц напевы дурманные! Спит отец на дне хором под хором икон... на столе голова... дремлет, водкой спалён, а я зрю, зрю сны ево пьяные...

А затмение Светила?!.. мы видали тя, небесная городьба: во сугробах стояла голь-голытьба, лица голые к небу закинула, сквозь копчёное грязь-стекло мы видали: оно во Тьму ушло, опосля себя само изо Тьмы — Светом вынуло... Завопила детва! То-то радость жива! Прорастает травую сквозь серебряные противни-наледы! А я прыгаю выше всех, и поверх сугробов летит мой птичкин смех! Сквозь бычий пузырь, чрез телячий Псалтырь бедной, нищенской памяти — разгляди ты мя, бредущу голомя, хлебом военным летящу — одним на всех...

Я заблудша звезда. Я собой не горда. Вот лечу-лечу, а вдруг в мя выстрелят? Я во главе шествия вставала не раз: громок глас, меток глаз! Громче всех голосила, неистово! Вот однажды плыла Волгой-рекой, на закате злачёной, непомерно баской, а лодчонка к расшиве нашей осетром приклеилася, жерехом; а тут бысть великая Тьма, да мы все чуть не спрыгнули с ума, да на стрежне якорь швырнули, не доплыли до берега... Заслонила Солнце Луна. И помыслила я: жизнь одна, што же люди сами противу себя бесятся? То друг друга — в тюрьму... вдругорядь на войну... оттово гладно-хладно им, невесело... И взмолилась я на палубе той: дай насытиться нам красотой! Дам нам, Боже, любовию насладиться! Не исцелю взглядом ли, рукой, не пребуду святой, ни царицей морской, да вы напевы мои, может, людям через годы — сгодятся...

Солнца знамение нежной глоткой пою я. Аллилуйя, Аллилуйя! Дальше, дальше бегу по распеву я... Солнца мне не остановить. Вяжу, вяжу луча ево нить. А враги наступают, их тысячи. А Силы Бесплотные возглашают напев, вон они, во звездах, Орел, Змей и Лев, и справа Господь, и замерла слева я... Славословье моё — вот моё бытие! Песни — воробьями летят меж святынями! Я от музыки с ума сошла. Я на музыке ела, на музыке спала. Я рояль мой гладила, била ли, не упомянуть уж... сонмы огненных душ надо мной махали звёздными крыльями... Я молила родню, все сильней день ото дня: ах, вы музыке учите меня! Буду петь-играть вам, душеньку тешить, не пожалеете! Не восплачете о сожжённых напрасно годах!.. Снарядили в путь мя. Слёзы — ландышами — в очах. Прощевай, лети-лети, соловеюшко...

И во Стольный Град полетела я! Обняла мя там вся моя семья: нежнострунные арфы, скрипки нежнобокие, дудки — слёз им не жаль, и громадный рояль, струны — рыбами, море — глубокое... Вами сыграю Мирь-Войну! Не пойду я ко дну! Расстреляют-убьют — возвернусь, хоть на пять минут! Хоть на десять снежных минуточек! Ноты плыли подобьем — за уткой — уточек... за гусыней — гусят... вот смеху-то... а плыла я — за человеками?.. ой, за звуками... ой, за нотами... за сияющими заплотами...

Это царство моё... государство моё... тот Престольный Град... не вернуть назад... куполов нотный ряд... скрипки ключами горят... вьолончели жалятся... льются слёзы меж пальцами... с висков капает пот... музыка, древний плот... перевези мя на тот берег, страдалица...

Это царство любви... да не слышите вы... уши, очи замыкаете ладонями плотно вы... Красный Кремль весь гудит!.. там наш Царь сидит... над землёй нашей неисходною... Отец, Сын, Дух Святой... а ты кто ж такой, богатырь?.. каково ко скоморохам-то — властным регентом?.. неисследно так... непотребием... да не правдою, а лжою ржавою... над терпелиницею-державою... Ах ты, Царь ты, Царь... Я звучащий твой ларь. Я неслышная твоя музыка. Не услышишь мя никогда. А мне орут: какие твои года!.. покичишься ищю жалью-мукою... Над доской застынешь, раз-

летишься блинной мукой, напечёшь блинов горелой тоской, да нажаришь постных оладий — там, вдали, за рекой... новый Царь — там, за тьмой... в окоёмном том непроглядии...

Царство, это ведь Бог! Да не затвержен урок. Да все хохочут, глумятся над Боженькой. Сколь церковью снесено. Сколь колоколов на дно... мя туда ж норовят, тюремку, остроженьку...

Непостижна я сама себе. Ненавистна всякой гульбе-ворожке. Распоследняя да пресущная. Алчущему — горбушка засушенная. Вам воздати, преступники, не могу: прощаю моему врагу, как Иисус на Кресте прощевал разбойнику. Вы протите, што не всегда весела, што часто примолкшая, грустная, да то по ушедшему печалуюсь, по дорогому покойнику. Ты, Царь земный, не отверни лица: Господа Царствию нет конца! Давай шепчи: да будет воля Твоя, Отче наш! Я-то верую, с тем и умру, ребятушки... А жемчуг на груди, речной маргарит, мне о счастье призрачном говорит, не выдашь и не предашь, — так пущай стану на Времени моём лишь стежком, лишь заплатушкой...

Во Граде Первопрестольном таково часто родину воспоминала еси... Не проси, слышишь, бессмертия, не проси: вот оно, уж при жизни тебе, грешной, дадено — неоглядные дали, сребрится река, холодны ея богатые рыбы, песчаны холодны бока, а сколь по ней ищю не поплавано, вод-земель не оглядено... Отец питьё хмельное в себя вливал из горла, а мать моя такова праведница была, за иных молилася, больных уврачующе, страху Божию бабка учила мя, и однажды смерть упала предо мною плашмя — увидала я за столом Бога пирующа. На странице ломкой, жёлтой старой Библии сей... увидала, от счастья враз окосей, ты, робёночек, ты, дитёночек... да запомни: Тайной Вечери круглый пирог, всяк не одинок, только Бог одинок, а ты в жизнь вынимает из смерти пелёночек... Да гляди: Святой Вечери ягенок на блюде, да вино разливают упрямые люди, а один, бородастый, очи светят, опять один — то в жарнице несносной, то в лютой остуде, посреди родов, похорон и годин... Я застыла над страницей, глядела на Бога: Он взирал на мя счастливо-строга, будто из окна за решёткой острога, а я пред Ним выловлен-

ная из речки сорога, дитёнок безрогий, ну гляди, погляди же ищю немного на лик Ево, Время мимо движется, недотрога, нежное, предвечное Демество... А на блюде ягнёнок лежал, все рёбра насквозь, жареные ножонки — копытами врозь, мёртвые глазёнки незрячие — наискось, и я не сдержала ребячьих слёз, слезами залилась, земной крохотный гость... И што же, што же, што же, што ж?! берёт Апостол кухонный нож, и мясо режет, как Времени ход, а Бог на Крест себя волокёт... А Бог Крест на Себе волокёт! За Ним и мимо — течёт народ! Влачится, гогочет, лишь пальцем ткнуть: это, плюют и скалятся, последний Твой путь! Эти гравюры... всё дальше ползли... листала, рыдала, на краю земли... а тут матерь притекает: ревьёшь опять?! Отдай же Книгу! рано боль сыскать! Рано в страданье таковое глазеть — ищю намучисся, изловит сеть! Ищю ты, рыбу, ударят по башке веслом... крюк из губы выдернут... отскоблят чешую над котлом...

Все звери и птицы, мучились когда, все были мне — спицы под вздох, под ребро. А Время было мне святая вода: я пила ево и училася творить добро. А как было, молвите, творити ево? неслышимо, невидимо? или прилюдно? я видала, как спасатели — спасеньем кичились, хвальбу дарящих слыхала... А мои крюки, пути и знамёна пелись детскою глоткою многотрудной, а мне подкупольной музыки всё мало было, мало, мало... Всё мало было подберёзовой и поднебесной, подснежной, подзвёздной мне музыки, сумасшедшей! И росла я девчонкой слишком доверчивой, чересчур нежной, ни кожи ни рожи, беззащитна, совсем без кожи, то и дело смешно рыдая над жизнью ветхой, прошедшей...

А музыке выучившись, я взяла да и вышла впервые замуж. Та, коей монахиней быть суждено — взяла да в брачну постель увалилась... И нас, там, на нищенском ложе, укрывала колючая заметь, густые снега валили, Большой Медведицей в небеси таяла милость. Ах, милость моя, любовь, сколь ты есть неиссчётно!.. Ищю не ведала, сколь твоих знамён воздыму, разберу вслепую дрожащих знаков... Ах, мне бы стать, родная, небесной, бесплотной, штоб не биться рыбой об лёд, штобы просительной ектеньёю не плакать...

А любовь мою, яко мёртву скотину, однажды

я увидала погибшей: когда на пороге кухоньки муженёк мой, Орфей, агнец заблудший, в руке нож держал, да на мя так взирал, што умерла б я тогда лучше... Он скатился с ума. Ево поглотила тьма. А я на свету, на виду осталась. И жизнь мою я б тогда отдала задарма — да не возымел никто к судьбе одинокой жалость. И стояла я во Времени, прожитом на третью! И шептала: лучше б мне умереть! А не той, не любви моей, одинокой скотинке... Убрехали люди в туман, то красавцы, то страшней обезьян, и по них, останова дых, я справляла, справляла поминки...

А потом... што потом? Баба я, мне не быти попом. А ушла б служить во храм с наслаждением. Вот веселие — в праздник Дванадесятый у наляя стоять, петь возлюбленной Богородице исполать, да следить в окно, пока не темно, за весенних листьев рождением... Мой рояль! чёрный мой плот! Али белый, кто разберёт. Выгребаю, руки-вёсла бросаю, вонзаю в музыки океан, и от музыки моя кто трезв, кто пьян, а я, людие, не играю — я музыкой — выживаю... Вот! живая! Бога живаго зрю! Все округ умирают — а я в ноты-букашки смотрю. О, рояль, моё Демество, да ищю орган! Деревяшки липнут к ногам... педаль жму, все жму... забываю... ни сердцу, да ни уму... только там — над ночными чернозёмными мануалами — увидеть златую зарю... Гул безумный. Рваново сердца гуд. Я играю тех, што завтра умрут. Я играю всех, ныне живых, живущих. Счастливы дякон, игуменья, иерей. Я ж стою, всё стою у дверей — у теремных, у тюремных, у храмовых, у бедняцких, тихо стуча, хрипло зовуща. У монастырских врат стою: на тебе, монастырь, возьми же судьбу мою! Не желаешь?.. черства, што ль, слишком, ржаная коврижка, я на зуб твоя трапезы?.. ночь и боль... я в Миру живая обитель, перекатная голь, в зимнем Царском поезде — подмышкою книжка.

Прошло десять и двадцать и тридцать лет. Я всё слышу голос. Я всё вижу свет. Соблазнялась, што греха таить!.. и грешила... што скрывать? Разве от Бога сокроешь праздник и боль? Наслаждаешься тайно — а Он-то с тобой, колет мешок сердчишка твоего острейшим шилом! Шёпот тихий: а ты не грешил... не грешил... Осеняет Луна равнины души. По снегам одичалым, росомашьим — бочонком катаюсь. Это Волга моя

и моя Сибирь. Моё яблоко это и мой имбирь, мой голодный паёк: не отломил несчастному, каюсь, каюсь.

Нет! отламывала! и тянула: ешь! Пробивала кулаком во груди моей брешь! Шкурой-рухлядью по насту ночному пласталась! Побеждала плотску тягу — пыталым огнём. Пела песню о Господе — да, о Нём, все о Нём! Ко зверям-птицам, собакам-синицам имела Божию жалость! В селе б жили — корову бы завела... так доила бы, звонкие вёдра, подойник наперевес... творила творог и сметану... Тьма возлюбленных промчалась, яко ураган. И судьбина сама повалилась к ногам — малеванец, охотник, рыбак, от мя, как от браги, пьяный.

Обвенчались мы в церкви... помню аки сей-час: в руке охалка цветов, храм во сумерках — старый карбас, платье у мя белым-бело — больничная смешная марлёвка... белый плат через лоб — вместо фаты... да, вот эти полевые цветы, цветы, всё ромашки, гвоздики, цикорий синей небесной ковки... А над нами купол таял в дыму. А над нами — несказанное: никому. А над нами гундосил радостно батюшка Димитрий, улыбался беззубо: «Исайя, ликуй!» — испускал сотни, тыщи радужных струй из кадила своево дремучево, из пламенной митры... А потом, совершив брачный корогод, притекли в избу, где хозяева сотовый мёд по тарелкам разложили, по мискам: и был вытащен из темницы-погребницы мрачный сладкий кагор, и на волю отпущен, тоски нашей вор, и Господь с нами рядом сидел, близко, близко.

А до свадьбы — таково тяжко пристало мне! Грудь да лоб пылали, яко в последнем огне, вся тряслась, колыхалась трясовицей: и уснула... и забылась... и привиделось, как наяву: я по Волге-реке, ах, по стрежню плыву, а корабль золотёный чудится, негою мстится. Золотые, парчовые пологи спят... али падают... на мне инда Царский наряд... а вода, вся сплошь, в рыбах играющих... и с небес мне глас: ты плыви, плыви! Не снесёшь ты однажды земной любви — станешь неба хоругвь, вселюбяща, умирающа! Ты плыви, плыви! Полным холодом живи! пей да ешь бытие полной чашею! Никого не суди! Прижимай ко груди свет ли, зло, свободная и бесстрашная! Погляди! река и гладка, и сладка, то ль минуту плещет, то ли все века, а настанет

час — льдом по горло затянется... Так плыви вперёд! Всё равно, миг иль год, пусть на палубе ты созерцает народ то ли вялицей, то ли плясавицей! А вон там, вон там, тише ход... вишь, порог ревет... вся сребряна водица — бурунами... Перевалишь — Бога благодари!.. разобьёшься — так молча умри... чти жизнёшку свою тайными рунами...

Што ж, православные?.. Воздух попробуй-ка взвесь. Обуяла мя злая, яко барс, болесть. Обняла, одела-обула, до савана, до могилы. Почти насмерть к земле придавила мя. И вертелась, как уж на вилах, бедная я, а себя не жалей, не обыми себя утешеньями людскими, постылыми. Жар густел и жёг. Помышляла: вот вышел срок. Собираться пора в дороженьку. Простыню казённую сминала в руке. Зажимала пузырь стеклянный, порожний-пустой, в кулаке. И дрожала Вселенской дрожью.

Все болеют. Все страждут на сей земле. На страдальном все плывут корабле. Тож плыла, не просилась на берег, зело путешествовала. Заявлялась в огне. Пропадала во мгле. И брела, брела по великой земле. И молилась, молилась, яко пред Вторым Пришествием.

Чужака я голубила: родной, ах, ты!.. обманул... лучше б отгрызла персты у руки моей, ласку дарующей, благословляющей... В мя палили, в небес патруль. Помню свист отвратный, длинный тех пуль, тошнотворный, ночь разрезающий.

Я рожала сына. Спасибо, Господь! От мя отрезан был мой живой ломоть, а живот, то у бабы сердце, дело знамо, воздела, яко знамя, распахнута дверца, выпущен орлик на волю, будет жить не тужить, доколе, да разве знаю, я мать шальная, я мать доверчива, в доску древлево храма вбита-вверчена, живу ныне-сейчас, а слышу далёкий глас, изо всех времён, из туманных пелён, оттяпываю кус лепешки той, што уста усладжала сожжённой святой, отглатываю той водицы глоток, што глотал Пантелеймон там, где бой жесток, где лечил он израненных поперёк-повдоль, а страдать, куда ж ты денешься, юродская юдоль, вот и сын мой рос-рос и вырос, как когда-то и я, у него нынче своя дальняя семья, а я моталась по свету туда-сюда, и мимо мя неслись холмы-города, мимо мя летели мгновенья-года, и мимо мя плыли корабли затонувших столетий, во звёздной пыли, в реяньи

всепланетных знамён, и кричали мне приветствия с форштевня и проклятья — с кормы, и неистово махали друг другу мы, ибо тёмная, дегтярная внизу плещет вода, ибо не увидимся больше нигде, никогда!

Нигде... никогда... ничесоже... на расстояньи руки... мимо, мимо всё, Боже, мои двойники... Вы словеса мои повторяете... они для вас — сундуки и полати... а я на ночь вас крещу... опричь тёплых живых объятий — я вас нежной, безмятежной молитвой прошу...

А знаете, двойники мои, я вами тихо горжусь! Я в ваши зеркала поутру-ввечеру люблюсь-гляжусь: валяйте, твердите вздохи-слёзы мои — а вам не пережить, не выпить моей сладкой любви! А вам моей пажмовой горечи не вглотнуть, не истоптать вдругорядь мой натопанный путь, не ведать людей моих сокрытых имён: замок... на порог — лишь пушу пламя пламён!

А ково любила, людие, превыше всех, так то скоморохов: стеной стоял от них смех! Колесом, коловратом ходили они, вверх ногами, бодали рогами наши утлые ночи-дни! Давай, плясовой медведь, вволюшку реветь, а я буду на широком полюшке в криву дуду гундеть! На домре, шут, бряцай, на гусях весну воспевай! На скрипочке, обочь бесславья, любовь наиграй нашу бабью! Пусть слушают мужики... глянь, валенки им велики: с вами не спляшут, да вам вон не укажут! Бубны, бубны бьют, круглей рожи! Все скоморохи — на Царя похожи! А може, они-то и есть подлинные Цари: покрыты златою кожей, Солнце безумствует изнутри! Э-хе-хе, поди да помирай во грехе! Почирикай воробышкой на стрехе! А я жизнь стисну в объятых, пред ней напялю самолучшее платье, да ну в обнимку плясать с медведём: нынче живём, а завтра, глядь, умрём! Так почему ж не сплясать от души... эх, бубны, бубны, хороши! Эх, балалайки, громче таратайки — вперёд, вперёд! Эх, вы, шутники-расстегайки, зайки-побегайки, а вдруг воистину никто никогда не умрёт?!

Эту песню мою сто раз перепели, перемазали сажей... и вы туда же... да я всех прощаю... кому вина, кому чаю!.. от души наливаю... из души — наливаю... переливаю из души в душу... готова вас всю судьбу напролёт слушать... а поодаль што брякает?... систры?... тимпаны?... э, братие,

да вы уж в дымину пьяны... песню гремите — вензеля язык заплетает... а я тут, рядом стою, подпеваю вам... в руке-рукавице-деснице чайник вина, голая шуйца обморожена одна... не гордая... не святая...

А ведаете ль, яко казнили мя?! Ох, балясы об том точить не пристало... да на колу мочало, а вдруг начну сначала, так уж лучше теперь, а человек бывает и зверь... Оклеветали мя, а потом на человеческий суд потащили; и приговор прочитали — утопить мя в Волге-реченьке присудили. Слушаю котячье мяуканье судьи, инда то не со мной. Огнище изнутри прёт стеной. Мирь дрожит, сиротий голопузый щенок, смешной. А я на суде застыла — не матерью, не женой: застывшей волжскою на морозе волной. А зима крепко на ледяных ногах стояла. Слоем лазурново инея, невесомово, яко летящий голубь, облепляла дома-корабли и сосну на краю земли. Прорубили во льду смоляную прорубь да к ней мя и приволокли. Это тебе не Крещенье! Не Богоявление! Не Водосвятье! А в чём же, в чём-ить моя вина?! А в том, што ты проповедовала проклятья! Што не хохотала льстиво меж толпы, а жила-брела гордо, одна! Одиноких не любят! Одиноких губят! Да потому, што живущий — в хоре поет! Што хор — это и есть народ! А ты!.. возгордилася, так бает молва: одна взложила на себя крест общево Демества!

И потащили мя к той полынье. И лежала я животом вниз на ледяной траве. И видала пред очами ледяные хвоши. И так бормотала себе: утопнешь, начнёшь сначала, мя ищи не ищи. А тут подошел незнамый брадатый иерей, камень навязал мне на шею, да и отскочил скорей; да рукою махнул: ну, давай тащи, после людского судилища грянет Божий Суд — молись, трепещи!

И схватили мя! И потянули мя по железу снегов — полосою огня! И до проруби чёрной доволокли... а я в небо гляжу и зрю: Глаз Медвежий вдали... Ковш Медвежий нынче мя зачерпнёт. Опрокинет во прорубь, под синий лёд. И уж боле ни цвета, ни света не различу. Ничевошеньки не возжелаю, не похочу. Я лишь только... ах, тишь, я только лишь...

...ты мя не слушай... ты слушай тишь...

...эту тишь великую, велий мороз, не вдохнуть, забьёт глотку метелью слёз...

И што, спросите? Зрите — пою, жива! Голошу, выпуская птичьи слова! Всё кричу, хриплю... а где ж прорубь та?

...всё метелью укрыто. Ни креста. Ни черта. Ни поминок. Ни помянник на том стихе не раскрыть, где лишь: помилуй мя. Где лишь пропасть: пить.

Отпускали мя, гнали из дома в дом, многое, людие, помню с трудом, дух мой чистый снегами ведом, исповедали мя, елеем мазали, в горах живала в белёной мазанке, в тайге сибирской тряслась на коне, обжигала руки в рыбацком костре, в синем огне, ночевала в скитальных горницах, где домовым-кошакам люди молятся, в голоду картофель жрала гнилой, благодать бе, Господи, приди на постой, у иконы постой да вечерять сядь, а и кто я Тебе, не сестра, не мать, не жена, я мужу жена одна, он малеванец, холсты малюет, на стенах во Божьем храме пророков брадатых рисует, в ночи мя обымет да таково крепко целует, а назавтра путь, а назавтра бой, ты в котомку хлеба не забудь с собой, готовься, затравят собаками тя, изобьют батожьем вусмерть, не шутя, а то увенчают короной стальной, хохлатой вороной, диадемою ледяной, а запах сурика и левкаса объемлет мя с четырёх сторон, то муж мой, разбросавши седые волосы, уснул, как закатный спит небосклон, и звезды на нево, обнаженного, валяются, катятся планеты, кометы жгут, и падает на дощатый пол моё детское одеяльце, и ево усыпает звёздный кунжут... Новая прорубь казняща да новый ров! не чти челобитную, огнем палящу, власти не прекословь! А я всю жизнь глас воздымала да супротив приказа, насилью вопреки; да я стояла во дымах вокзала, а рельсы горели у самой щеки... Ах, новые времена!.. а я-то, вот расплата, та же самая, одна. Дети, мужья, летописцы, сказочный хищный зверь — все, толпяся, уходят в одну настежь раскрытую дверь. Новые козни, новый погост, новый стучится в морозную дверь позабытый гость, новый поёт Сирин ли, Алконост, и щиплет клювом златым Гамаюн соцветье медных, кровавых струн... и то сказать, забвенье, забвение всем... этово уж не пью, тово уж не ем... тово уж не вем, а точней — всево, да, всево... только и помню, што

моё Демество... только и слышу многогласый партес, дремучий кондак, неисходный лес... река в чашобе... дегтярная полынья... во твоея утробе — вся радость твоя...

А там только сердце. Ево дивный ход. Оно — стук да стук: никто... никогда... не умрёт...

Вот мне монастырь. Вот мне острог. Время — мой нетопырь. Я ему — недовязанный чулок. Тяжкие камни. Винный, хлебный дух. Поёт, заливаясь на крыше петух. Всяк дом — святейший. Сарай всякий свят. На цепи злая собака. Окна мёдом горят. Окна текут золотой водой. На крыльцо выбредает хозяин седой. Ах, это мой муж. Не узнала ево. Мне шепчет: ну што, жёнка, пой свое Демество! А я здесь живу-обитаю уж множество лет. А ты-то вот знаешь ли, калика перехожая, ликом святая, — смертушки нет!

Люди, будьте в горе стойки. Преносите муку шутя. Разбейтесь чашкой в попойке. Замёрзшее обогрейте дитя. Три перста, креститесь, или два там, Рождество или Рожество — мы все подобны солдатам, как под флаг, встанем под Великое Демество. Однако храните, несмышлёныши, старину! Забвенью не предадите Богородицу лишь одну! А и кто над Нею глумится. Лесным богам кто поклоняется, меж лилий бросается вплавь. Кто Крест любить зарекается в сиянии звёздных слав. А я лишь Богородицына птица, монастырская лишь верста. Мне жизнь моя снится-блзнится, пылающа красота. Щебечу во всю глотку! Набрасывают на мя ловчую сеть... Знаменита — по всему околотку: идут на мя поглядеть! Яко пою неисходно... раду-радость пою... одиноко и принародно, подобно зяблику и соловью... Подобно волчьему вою, воплю медвежьему... сама себе яму рою, поклонюсь да уйду во тьму... Тараканы и мыши, да за печью сверчки... не ешь, не пей, шепчи тише, кольцо роняешь с руки... Пахнет из чугуна щами зелёными: крапива, весна... Благоухает мощами домашняя церковь одна... Покорись, шепчу, новому Патриарху, архимандритам ево! Сама себе стань подарком... спой новое Демество...

На мя пялили шубу собачью, шкуру грешную, гнали конскими мя плетями. Зверьком кликали мя, канарейкой потешной значили

меж пышными надменными людьми. Они в сафьянных сапогах — а я в чугунных кандалах! Мя целовали в губы, штоб назавтра в Сибирь сослать. А вместо ссыльных страданий под небом сибирским, синеоким — высоким, кедровым, глубже Байкала глубоким, сапфинова благодать!.. — я испытала счастье таковое, што до сих пор в груди несую, соболину красу, никак тайну сию не открою! А муж мой, малеванец мой, тож из Сибири, казак родом; и всё ея одну малюет-голубит год от года... толпу ея птичьёво, зверьево, человечьёво ли народа... всё мою ссыльную шубёнку хранит в уголку, локти латает, да сколь сладкой, терпкой любви суждено на веку, не зрит и не знает...

Мощна богатырша Сибирь... ея забыть — да разве возможно такое?.. А рвётся Времени рыбачия нить, и патроны рассыпаются под рукою, и псы охотничьи, лайки, далече, за облаками-тучами, хвосты на спины лихо закручены, а косточки их, человеку верные, давно уж в земле ислтели, а может, хранятся в навечной мерзлоте, во мгле Мира безмернаго... Забыть! забыть! о, жжётся кроваво клеймо забвения! Воспомнить дражайший миг — всё равно што избегнуть тления; память, край бытия, памятью клянёмся, ласкаем, просим прощения, — а длинна иль коротка память твоя, нет о том известья-оповещения... Забыть! забыть! яко воды испить в жару, в болезни, в обманном, святой лжи, обещании; забыть, забыть и всё простить, даже то, людие, што непрощаемо! Забыть... как наслали немоту и слепь... как надели сатанинскую цепь... как плевали в очи, яко недвижной мумии... в затылок — камень остёр... как тащили мя на костёр, да ливень хлынул, залил лютое полоумие... Забыть стократ... как орёт пустосвят... как блажит приговор читающий... как оболгали с макушки до пят... как старухи кричат — заклинаяще, завывающе...

Всё забыть! Да память не рвётся, нить. Вот беда, пряжа слишком крепка! От судьбы до судьбы. От виска до виска. Вот река и река, вот рука и рука. Боль великая далека.

Но грядёт опять великая боль. Господи, вот счастье — остаться собой! Так пребыть — во проруби чистой водой, зимним дымом над таёжной трубой, яснослышащей ли, навеки глухой, зрячей али слепой, дарёною ли судьбой,

завоёванной ли судьбой, мой Господь, ты со мной, муж родной мой со мной, шуб, шапок хищных не надобно мне, ветер северный свищет в бычьём окне, ветер северный плачет, во поле мёрзнет жнитво, ничево Мирь не значит без Бога, ничево, все соборные церкви, все пиры и посты от любви лишь ослепли, и дрожим я и ты, повенчанная пара, в кошеве Времени тряско, старость сильней жара и безжалостней волчьей маски, старость забвенная, безотрадная, а память ей кости ломает хрупкие, а жизнь пресладкая, пренарядная, Херувимы многоочитые в ней летают снежно крупкою, Серафимы шестокрыльные да Архангелы огнепальные — все забыли кресты могильные, все помнят всё ребячее, изначальное! Вот и я помню всё это! Мешок игрушек ёлочных! Кашу манную, слаще масла! Пенки молочные, слёзные! Кирпичом на лопатках — ранец, и я бежала, весёлая, быстрее собак — во школу, учиться: а наставники угрюмые, грозные! А дома, у плиты, плачет мать: рассыпалась мука, не собрать, раскатились горох и пшено по закоулочкам... Я собираю с полу жизнь! Я шепчу ей: держись, держись, ведь у нас осталася ишо речная рыбка, изюмная булочка! Мать обнимет мя... языком огня... в расставанье не верь... што уйдёт она завтра — не ведаю... и кормить буду теперь я одна с руки — сонм печалей-потерь, насыщать их навеки жаркими обедами...

Ах, матинька-мать, ты мне уж не обнимать, не реветь у ты на груди коровищей-дурицей! Да и ты мя уж не изругаешь и заране, и вспять, не ощиплешь безглавой, растопыренной курицей! Ах, матинька-мать... чадам — родителей возвернуть-повторять... их зрчками во Книге Книг ловить рыб-уклеек, юркие буквицы... Ах, матушка, ты прости, лик твой мне сквозь воздух нести, спицу-клубок твой, моток твой в корзинке найдя, точить слезу: как от луковицы...

Вижу всё, што ныне идёт и прейдёт. Вижу земли: их колышется плот непомерный — среди ковра океансково. Вижу: катит толпы снежный ком, налипает новым снежком, испускает вопли опять окаянские. Што за бунт? нишкни! Догорели огни буйные, злокозненные, глава под

новой секирою валится... А давай тебе выдам тайну, мы ведь здесь одни: я — свидетель всему, што во Времени варится.

Я свидетель всему, што было тогда. Когда мя не было и в помине. Трисианно жила. Треблаженно плыла, аки по морю, по безводной пустыне. Виноградной лозой, разлучной слезой, криком брачным, родильным, военным ли — стебель страданья, священья свет... так шептала всем: людие, смерти нет!.. вы запомните тайну сию сокровенную... Ах я, мученица зело! Время прежнее уплыло, ушло, а куда же я память дену? Всех людей вспомню враз. Вижу всё, как сейчас, што тогда, што ныне, неизменно.

Мирь, меняешься ль ты? Всё течение воды. Трепещите, люди, дьявольска навета коварнаго! Пища, молитва и труд никогда не умрут, а хула канет в ночь, скользко-хитрая, мыловарная...

Я свидетель быту всему! Я всё нынешнее к сердцу прижму! Всё приму, и смертный бой, и соловьиное замирение! Вижу ныне зарю — надо льдами — встречь январю: чертог свадебный, торжество-Всесожжение! Вижу, как мгновенно люди друг другу шлют блеск и боль, похвальбу обманную... Вижу — на ноже казнящем соль, да и вижу нас с тобой, ты, вражина моя, песнь окаянная!

Да, в лицо, в рожу вижу рыжу хулу: подбрела однажды во пир ко столу, со столешницы братину цап, на корабль мой закинула трап, по нему в жизнь мою перешла... и начались дела! Ой, людие, дела начались!.. хоть вниз глянь, под землю, хоть на небо ввысь... предо мною торчала колокольнею, а округ башки бешаные власы, а глаза тикают, инда часы, мукомольные, престольные, богомольные! Кто мне бевовщину ту подослал, не ведаю: нет, не Бог!.. занесло иными ветрами... я в Коринфе душою гуляла, в Афинах с Гераклитом беседовала, на судьбину мою никак не сетовала, а тут... раз! — в глотку винцо!.. да не отвернёт наглеющее лицо! да мне прямо в глаза глядит, да громче шута площадного блажит: ты, мол, дескать, дьяволица первейшая, старуха гнуснейшая, и песнюшки твои распоганые, и бредёшь ты суглобая-пьяная, ты исчезни-исчезни, ты умри-умри, а я буду о празднике том петь до зари! А опосля вдруг состроит умильную мордочку: ах, подруга, подай со стола барсково корочку!.. ты

ж велика такова, што твои все слова прямо нынче пред церквою спою на пригорочке!

Слова... слова... ими лишь жива... я свидетель, за всё в ответе...

И хулящу мя, строптиву бабёнку ту сперва молча, очами гнала за версту... а потом, о, потом-то прозрела я! Ведь мне послана она, та безумица, та жена, штоб на земле врага возлюбить успела я!

Больше жизни, крепче смертушки возлюбить! Связать меж собою и им златую нить!

Ах, у всякаво на земле широкой есть враг... он наподобье рока, вцепится, инда рак... да висит на коже, на сердчишке твоём болящем, расклевывается... Протянула к хилой хуле я длань: ну што брешешь, ну перестань, болью всяк за грехи расплавляется! Грешна я сильно, видать, што явилась мне хулы благодать! Это ж счастье — обоганной быть и оплётанной! И раскатанной на калачи, и сожжённой в печи, и в оковы чугунные во срубе закованной...

Ах, хула, на краю бытия! Ты тож матери моя! Ты мя на свет Божий рожаешь страданием! Бей, ишо крепче бей! А восстаю меж людей я Артемис, Фотиньею, Зимцерлою, Мокошью, Ярилом-рыданием...

Кому ж помощи, хула, аще не тебе?! Живи, хула, помирай в гульбе, воскресай в калёных кондаках да виноградных ирмосах! Ты, бабёнка, слаба, яко дитя... ну и жаль мне тя... так люблю тя, што сердце б тебе моё вырвала... Всех нещадно ругать, ташить-воровать, ворожить-кудесить, обольщать лукавиной пучеглазою — всё то, яко Мирь, старо! Изветшало добро! Рухлядь та молью бита! Украшаться ею заказано!

Ты, хула моя, брось блажить-орать! Ты не войско, не рать. Одинок твой голос: не гневайся! Да не жалься никому во богатом терему, не бреди ночи бредовыми напевами! Ты мя боле не обижай: я твой чистый Рай! Твоя слава, хула, грядущая! Да, ты славою станешь, моя хула! Ты того не чуяла, не ждала — да буду гулять с тобою Райскими кущами!

Вижу, как нынче мя опоганили. Вижу камни, и песок, и лёд. Вижу, как Время, младенца оруща, избили, изранили. Я свидетель всему, што ишо придёт. Я при жизни не вознесусь, а вижу, как возношуся далече, распнусь на кресте сумасшедших ветров: вот там власы

мои возожгутся, што последние свечи, вот там, там я воистину превращуся в любовь. Што, скажете, беззастенчиво вру? Не таково-кой брехуньей однова породили мя родители! Я жизнь мою в муку измелю, в порошок сотру, да только бы вам, людие, жить на земле устроительно, упоительно...

А ты, хула, моя бешаная, косматая вражда! Полно за мной по пятам бежать! Беги в никуда! Там, во бане старинной, парься, берёзовым венником шпарься, может, навеки очистишься, станешь ликом лучистая! А потом, от грязи чиста, ко мне явись: и обойму ты так, как обымают жизнь, как во Праздник обымают чюдотворную икону, Пречистую... Ты, видать, моя судьба, и жжёшь огнём не шутя! Я давно, век тому, простила тя! Не кручинься, моя горько-сладкая! А вдвоём, вдвоём мы огненну песнь в лазури споём, заиграем алмазной, сугробной колядкою...

Да и што ж?.. людие, Миръ на нас обеих стал вдруг похож! Вывалился из кулака острый нож! Чудо велие свершилося, а как, да разве ж ево растолкую? Замиренье вспыхнуло меж нами яростными, благостными, чистейшими пламенами: шагнула ко мне ближе хула — да и сгорела дотла, а я ея обняла и такую — обжигающую головёшку из сгасшей печи... к сердцу прижимала да всё бормотала: молчи, молчи... успели любить, успели забыть, успели простить, успели на земле в ослепленьи да в восхишеньи пожить, ну так дай я тебя расцелую...

Божие чудо!.. самовар блещет полудой!.. вот жизнёшка, то полымя, то остуда, а мне в ухо шёпот, жарким подарком: нет, я не плачу, плакать не буду, — а слёзы-то у ней сами льются, а руки пламенным кругом в объятии гнутся, а мы обе дрожим, кричим-блажим в Божией руке, и вот же она, не хула, а похвала, не гоньба, а судьба! Не зубов клацанье, а светлых очей кладези! И бормочет, прокименом тайный глас бормочет: о, во зле прогорали, испепелялись дни и ночи, о, во слезах горя, сестра, мои времена тонули, мгновенья во сердце вонзались, как пули, а теперь слёзы счастья струятся, — никогда не разбиться, радостью сей никогда не упиться, никогда по снегам лунным вином не разлиться, никогда не расстаться...

Не хула, а сестра! Не зла возжелай, а добра! А зло да добро — ох, оба больно таково жгутся, остро! Старо, как небеса, примиренье, старо, — да сколь свежево, лилейново счастья в нём!.. не забить батогами, не пожечь огнём...

А она обнимает мя, уж не хула, а сестра, да и шепчет: о, как бы дожить до утра, колени от радости подкашиваются, песнь на уста сама напрашивается!.. Давай же споём!.. Давай: вдвоём!..

И, людие мои, таково чисто запели мы с ней на два гласа, чисто и ясно, и я пела, дрожала и мыслила: нет, жизнь прожита не напрасно, ежели мы с любимой сестрою, вчерашней лютой хулою, а нынче лишь ей настезь сердце откרוю, измазаны во вчерашних сражений крови, поём — о любви!

Ну што?.. спеть вам ту песнь?.. она, милые, вот здесь у меня, инда дитёнок, под сердцем, здесь...

По льдам лазоревым, по рекам многоруким, многорунным, разливанным, по зеркалам хрустальным, от вина зимнего вусмерть пьяным, по насту, што отразит — метельной заплатой — только праздники наши, ой нет, и наше горе клятое, вишь, слёзы подносят полною чашей! — по намолённым излучинам-притокам, там рыбы вмерзают навек во времён кровеносные тайны-протоки, в воспоминаний снег, там Царь Стерляжий замер, в драгоценной толще застыл, глядит изумлёнными круглыми жемчугами поверх забытых могил — по усыпанным хрусткой порошей дерзким крутояркам — по Кремлям-пряникам, вековым-восковым-ярим — по дымящим трубам, по ранам-оврагам, по столбов-башен железной жестокой расчёске — по знамёнам, штандартам, стягам, безжалостно раскромсанным на шёлковой крови полосы — бегут-бегут, прыгая до небес, мои скоморохи — в шапках с бубенцами-колокольцами, мои зимние пророки! Мои разлюбезные, любимые озорники! Сквозь сугробы растущие крапивы-сорняки!

По льдам сапфировым, там спят корабли, по рекам, застывшим зимнею кикой моей земли, мимо небес печально проплывшей, мимо небес плывущей, всегда-вечно сущей, — бегите ко мне пляской-песней зычной, зовущей! Ах, катитесь ко мне колёсами царскими, златыми... Я

каждого расцелую! Каждого повторю имя! Даже ежели имени, Господи сил, не знаю... Да я ж вам мать-сестра, я ж вам родная!

Ах, вот вы и рядом! Мя обступили-обстали! Пляшите буйным, вольным ладом на снеговом одеяле! На алмазном ковре, на серебряной сковородке, то наглы-дерзки, то нежны-кротки! Катитесь ко мне, румяной, от радости плачущей, по сугробам... Любого из вас люблю — до рожденья, до гроба! Сама кривой-косой кокошник дрожашею дланью в ночи вышивала... А мне жемчуга-яхонтов все мало было, да, мало, мало!

У реки зальделой брала! У свиристелей хохлатых! У ясных рассветов... у военных закатов... У санного полоза, что вдоль по льду — вперёд, не свернуть, это мои розвальни, люди, на холоду, это боярский, опальный мой путь!

Это мой староверский крест! Кованый Аввакумов язык! Дрожь казнейшей лазури окрест! Кострища огненный зык! Ну, бегите ко мне, задохнитесь, мешком упадите на снег — мя связали из выюжных нитей, а я всево лишь человек...

Я всево лишь баба, скоморохи! Бедная баба, сама своя! Нет, я мощи земной корка-кроха, зальделый топор, скол бытия! Вы — народ мой, а я — ваша песня, сегодня, всегда, вчера... а ты што стоишь поодаль, скоморошенька, свет-сестра?!

Подойди ко мне! Издала на Солнце глядеть не с руки! Беги, вся в огне, задрав Орантою руки — огненные языки! Катись ко мне, Луна моя, Колесница, небесный мой Коловрат, и вместе помчим вперёд, ибо прошлое слёзным лезвием снится, ибо нет дороги назад!

Всё перебежано! Всё переплыто! Копошились нищие пальцы в сокровищах тяжких слепых сундуков... Разбивалось мылом склеенное корыто! Распинали на корявых пяльцах парчовый глазет грандиозных веков! Всё порвано, всё истлело до паутинной жилы... сгорело в полынном пламени дней... Сестра, в небеси ты ярко светила — свети меж земных огней!

Ну, ближе, ближе... бешаная окрошка мошкары-алмазов, буйных снежинок, зеркального льда... Так спляшем, две скоморошки, без танца мы никуда! Схватившись за руки, не зная броду, в шальной и святой хоровод... А сказано ж было народом: никто никогда не умрёт!

Радость в душе великая! Хмель ледяной — через край! Сияй, сестра моя, ликом, косой златою сияй! И пусть балакают, шепчутся, шушуются, визжат — мороз гладим против шерсти, целуем нагой закат!

Вражду и гнев я забыла! Обману швырнула мыт! Выкрикну в небо звонкой силой: теперь ничево не болит! Теперь я стала — нежные звуки, раскрытые в радость Врата. Стою, на весь свет раскинув руки: свобода! смех! красота! Родная, ты белозуба, а косы волнами, рыжей волею, блаженным островом... Я стрижена коротко, воином, солдатом, царевичем, отроком... Такая уж я баба — сражаюсь!.. а после боя плачу навзрыд... Сестра! мы снова Любовь рожаем! потому так слева болит!

Пляшите вокруг нас, скоморохи, вокруг пляшущих дико сестёр! Пляши! Не отвалится ноги! Горит сугробный костёр! Алмазный, безумный, белый... жгуче страданья клеймо... Пляши ты, смертное тело! А сердце споёт само!

А сердце вы, скоморохи, услышьте, ухо прижав к дыханью и хрипам эпохи, к расстрельному насту держав... Забыты распри и ссоры. Война выпита вся. До дна. Последним праздничным приговором Любовь осталась одна.

Надо льдом жёлто-медовым, кубово-синим, над малахитом реки летит красиво и сильно — сломаны крылья тоски — а вырос размах Рух-птицы, скань лазурного бытия — одно крыло — ты, сестрица, другое крыло — да я!

Двукрыла Любовь, двусвободна, двувечна! Двуперста, вера и мать! Двуречна и двусердечна! Двурюка — весь Мирь держать! И так стоим на родной зимней дороге, уже навеки вдвоём, смеёмся и плачем, не боги, две бабы, меж явью и сном, меж выдохом, вольным вдохом, меж вечной ночью и днём, и пляшут вокруг скоморохи — на снегу — великим Огнём.

Мы наш Раскол победили. Единое — во славе и силе. Единое есть Бог истинный, чюдо творящий в Галилейской Кане; расколотое на жалкую россыпь глядит уныло, обреченною рыбою на кукане. Нас всех раскололи: до горя! до боли! нас в ужас и прах и тлен обратили, живых обрели могиле!.. но мы, но мы — победили...

Скажи другой: сестра моя! Шепни другому: брат! Протяни им руку на краю бытия. Никог-

да не вернуться назад. Мы идём только вперёд, и никто, так Господь возгласил, никогда не умрёт, и велик, непостижен наш страдальный, печальный Крестный ход, наш поход по земле, то угрюмо, то навеселе, то в виду всеобщего мора и смерти, то у звонкой, роскошной, вина залейся, знатной пирушки в виду... а жизнь-то у мя отнять посмейте!.. не отымете!.. прочь!.. стою в обнимку с нею, от счастья косею, дрожу на всеземном холоду!

Нам не надо злого Раскола! В любви Мирь святочно-голый! Нас раскололи, а мы съединились! Нас раскидали, а мы срослися! Молот в кулаки не хватай, хула, сделай милость: предо мною — ты, любовь, да пред любовию — я, любовь... узнаёшь наши трисвятые, тресветлые лица?!

Раскололи надвое едину любовь! А может, натрое! А может, на тьму тем острых, погиблых кусков! И бредём мы, безродные, розные, в отрешках по наледи, закрываемся от ветра крылами лебяжьих изодранных рукавов... от Солнца яркого застимся, шуримся на заречное зарево, о, там великанский пожар, горят палаты бояр, а может, нищие избёнки, странноприимные горе-дома, да как бы нам, людие, от костяной войны, от скелетной ненависти не сбежати с ума...

Нету боле хулы! Есть хвала. Нету злобы! Любовь заместо нея. Так зачем же впереди страшно клубится мгла, и пред ней на колена, яко во храме пред образом, горько падаю я?!

Я свидетель всему. Вижу Свет и Тьму. Вижу часто над затылком в зимней ночи — цветное Сияние: это празднованье дрожашу щеночку-сердцу моему, это превеликое моё покаяние! Завиваются зелёны, бронзовы копья и стрелы, мафории в выси летят и рвутся, и наново вьются, насквозь светятся паутиной, а потом растают, и нет помину, а опосля опять вспыхнут да польются медовой, жемчужной лавой, мантией алой, кровавой! Таково Сияние, знаю, на Севере лучится. Дрожу под ним подстреленную волчицей. Лечу под ним быстрой душою-птицей. Ах, снова, снова играют в зените, средь катышей звёзд, небесных мечей вереницы! И внимаю навроде лехкий звон: Бог обо мне промыслил, распахнул небоск-

лон, и зрю, яко на образе Пресвятом, златой горний свет, и улетают вдаль журавли перелётных бед! Ах вы, бедованья перелётные, Серафимы-Херувимы бесплотные! Да где ж вождь ваш, Архангел батюшка Михаил, што по небесам вас крутил-водил? А и вон он, Архистратиг, всюю землёю велик, надо мною, во эмпиреях-перлах, плывёт-летит! То ево бессмертный хор, бесстрашный ход! Он все тьмы поборет, людие, поцелует там, где болит, а все праздничные светила — разом возожжёт...

А вижу, всё провижу, всё знаю: не казнят мя враз, сперва сошлют. Бросят мя, насельницу Вселенских Времён, в безвременный сирий закут. И не будет простору мне хватать. Буду воздух, яко просфору, голодным ртом ловить, рыба безмолвная; и звезда во лбу моём будет гореть-чадить, негасимая, бессонная. Какова она будет, тюрьмища моя?.. яма, пещера, кирпич или сруб? И будет вся моя семья — лишь песня, и бьётся у губ. Уста для песни отверзи!.. она у тебя одна. Струятся слезыньки со ланит на перси, обжигают ладони и рамена. Вас, людие, заточали во темницу когда-нибудь? Там одинок человек, как Бытия в начале; там все вопли внутри и внутри все печали; там всё тише вздымается грудь. Там всё страшнее мысленно читать письма во многоочитой Серафимской Книге, гладить пергамент телячий, яко живую возлюбленную щеку; там принесут тебе пытошные вериги, обмотают ими, и будешь чугунное горе таскать, суждённное на веку. А век весь — в один год, в один день вместится! Эх, черница, подбитая птица... И бумаги у ты нет, и пера писчево нет, так стоны-вздохи лепечи-бормочи, выпускай невесомо на свет, — а они мгновенно исчезнут, никто не услышит, песнею рот истерзан, дождь молотит по крыше...

И што? Велено мя будет посечь аль повесить? То ли год в застенке томить, а может, все десять? А в чём же пред вами, людие, мои властители, повиниться? Была вашею кормилицей, целовала ваши румяные лица... Целовала песнею, ковригой воскресною, жаркими, суриком крашенными устами! За што же во сруб?.. вода, хлеб — мимо губ... а мя ждёт голодное пламя...

Взалкало мя пламя. Сгорю меж вами! А вы ок-

руг мя безъязыко столпитесь... Огонь, то не проклятье: золотое то платье, парчовое, красно-блескучие нити! Наш Царь нынешний мя казнить попускает — да, я не такая, и я не сякая! Властям неудобна, гостям неподобна, откуль забрела во Время оно? Руки не секите, глотку певчую пощадите, лучше сожгите — до пепла, до тихого звона...

Я только Вирсавья пред Временем моим, царём Соломоном! Я только Мария Магдальская перед белым, вьюжным хитоном Исуса! Белее млека улыбка моя, скула от слёз солёна, очи горят, высокую вью объемлют бусы! Даром што старуха! Час пробьет — обратно рожусь. Стану лилейною девой у серебряново, плывущеву в горьком тумане зеркала. И всею младостью, всею забытой радостью ярко во мгле отражусь: смело жила, бессмертия не искала! Всюду-превсюду шла, воздевши длани, одна! А за мной бежали толпы народу, мя не чуя, не видя... одинока берёза, ветла, одинока в морозе жена, облепляет мя, древо живое, иней, пурга ко мне царственно снидет! Всех сожгли, вы же помните! всех пророков пожгли! Авраама, Исаяю, Иеремию и Даниила! Всех на вертеле жарили, бичевали, клеймили, пекли, изрубали в куски... это — помните! это — было! Сколько ж надобно нам ищо виселиц, крючьев, огня, раскалённых железных прутьев и волчьих кованых зубьев?! Мы жестоки. Без ненависти не прожити и дня! Ну, а вы без любви попробуйте, вышейте златом хоругви!

Я Вселенскую Церковь проповедовать было взялась. Я Вселенскую радость выкричать слабою глоткой пыталась. А меня — взашей! а меня — по щеке, наотмашь! и в грязь! И ногами топтать... где ваша, люди, милость и жалость... Што, всяк из вас, што ль, Олоферн, Понтий Пилат, шедше в Мирь лишь со злобой там, в подрёберном мраке? Моё Время, вместе со мной, никто не вернёт назад. Што ж вы лаετε так без умолку, вурдалаки, рыжие вы собаки?

Вижу день и час, когда возгласят мне: ныне сожжём! А я тихо шепну: ныне отпускаеши, Владыко, рабу Твою по глаголу Твоему с Миромь... Люди, люди так вопят, как по сковороде ножом, я Антихриста зрю и зрю Христа, и всё бормочу: жалость, жалость и милость... Только жалость и милость, да, только любовь

одна! Ну не может, не может древо добро плод зол творити! Вы пошто раскололись, люди? Ни яви, ни сна, только небо, — а зрите ево отраженье в лохани, в корыте... Вы пошто мя хотите в том древнем срубе сожечь? Што я сделала вам таково безчестново, чем досадила?

...разве тем, што на полмира — крылами — раскинула гордую жаркую речь, мою Песнь о том, што будет, што есть и што было...

Сруб древняный. Сработан из лиственницы крепчайшей али корабельной сосны. Следы веток спилённых аки бабьи сосцы. Может, бревна дубовые тут плотно друг к дружке уложены, с ободранной корою-кожею, уж никогда не пустят вон побег, человечьей избе служат вовек. Я сама этот сруб. Не инкуб, не суккуб, Мирь со мной оказался пьян и груб, ну, а я ему — лишь молитву из губ. Вижу. Видеть мне до конца дано. Вижу подслеповатое, льдиной тающее окно. Всё то будет — иль было давно? Всё равно. Вьётся вьюжное веретено. Не пророчица. Не святая. Льдиной не хрустну и не растаю. Начнусь ли сначала, немая, малая, нагая, младенцем молочным, безпорочным у бабьей груди играя? Сруб древняный. Палач, плач безыманный. А может, их много, округ бедного сруба моего, нанятых палачей, и безсчётно в кулаках их факелов-свечей, и жгут их, во тьме звёздново вечера жгут, как на службе, с огнём стоят, ни шагу назад, ни шагу вперёд, скоро приказ, эта бабёнка скоро умрёт, вернётся ль обратно, знать бы наперёд, нынче на широкой холодной реке встал намертво лёд, приговорённую душеньку Геенна ждёт, али Райский Сад подплыл ко срубу, золотой плот, мандариновый грот, межпланетный полёт, а правда ль, што осуждённая умела на заморском рояле, на железном драконе-варгане играть?... нет, люди, она умела лишь умирать...

...умирала — то пела, без края-предела, без раскола-раздела, без труда-дела, пела как дышала, пела как заклинала, пела как молилась... где вы, где вы, жалость и милость...

...палач, поднеси ко срубу огонь. Заплачь. Видишь, Время твое несётся прочь, вскачь.

...и блесит в последней улыбке полоска зубов...

...где ты, где ты, любовь...

Пламя вверх взвилось. Звёзды не сдержали слёз. Палач, он ведь тоже трудник, а не грешник, хищник и блудник! Он на службе государственной... гляди, страшное зарево... Я зарево то будто сверху, из поднебесья, вижу. Ближе, ближе, ближе, ближе. Пламя взлетает, машет крылами. Пламя уже повсюду над нами. Мне больно! Кричу в голос!

И тут вдруг, Господи, земля — раскололась.

Раскол зазмеился трещиной жадной, длинной. Я, огнём охвачена, молилась Отцу и Сыну. И Духу Святому, и Богородице Деве, огненным плодом на огненном древе! Раскол шёл всё глубже, разламывалась хлебом земля, разымались надвое весь и столица, разрезал незримый Ангел незримым мечом небесную твердь и дымную почву, и мела метель, и стлала постель возлюбленному огню — нынче ночью! Да, вот ночка так ноченька! Распоследняя! Выдалась жарка! Мирь, я у тя в горстях побыла неожиданным подарком, а теперь мя у тя, дружок милый, Господь из рук вынимает нежно, напоследок крестя, напоследок целуя в вихрях невестиных, снежных! О, я невеста лишь нынче ночью! Брачный чертог, осиянный порог зрю воочью! Это зима-кутерьма, и в ней огонь-не-тронь, и внутри мой Бог мя держит — вопреки нечеловечьей муке — на широких руках, оснежённых полях, зальделой речной излуке!

А мощный Раскол всё глубже вонзался, всё мрачнее шёл, уходил звериным разломом туда, где всё страшнее, во преисподние тьмы, во хляби подземных тюрьмы, петлём, захлестнувшей земную шею! Кони ржали! Мя Ангелы держали — справа и слева, сверху и снизу, я зрела их лики! Штобы я не стонала, не хрипела-кричала, штоб утишить последние крики! Загасите мя, яко свечу... тако выстанываю им, шепчу... а они мя крепко держат, аки кузнецы — молот...

...а Мирь мой внизу лежит, расколот...

...и стонет, и вопит — сильнее мя!

...возлюбите бешанство святого огня...

...возлюбите последнее торжество...

...пойте, людие, Последнее Демество.

И раскололась земля до основанья ея. И раскололась неба синяя ектенья. И раскололись люди, теряя руки-ноги, красавцы и убоги, а мнили, што они Боги, несли наслажденье на блюде, задирали носы, выпячивали груди, а на деле — вот оно, пламя: Раскол под ступнями, перстами, Раскол под ногами, сердцами, под объятьями и венцами, призри на ны и помилуй ны, Господи, Тебе одному верны, Раскол под рекою, горою, согрешили перед Тобою, расколол Ты землю старым ржавым кадиллом, могуче она Тебе, грозному, не угодила, да Ты полон любви, Ты же сердце Мира, Господи, сохрани, прости и помилуй!

Господи, верни нам нас всех, постылых! Господи, умоляем, сотвори все, как было! Господи, может, ишо Мирь не пребудет Тобою проклятый — хромою, слепой, немой бесноватый...

Господи, штоб Мирь не умер, кричу, дай горящее сердце открою! Мертвый Мирь покropи живую водою святою! А может, не люди мы вовсе, а злобные диавола дети, ежели сами себе врем, што — ни за што ни в ответе! А всё, што содеем — то факелы огненной казни! Забыли про Воскресения Светлаго праздник! Забыли про супружеску ласку... безкорыстие верного друга... напялили волчьи, лисьи маски... из колдовского не выбежим круга...

А теперь... разбегаются земли, кипятком брызжут моря, рты кричат: всё зря было, зря!.. я, казнямая, последнему хаосу внемлю, да не раз я то в виденьях видала, да не раз просила: начни сначала, ну давай, Господь мой, начнём сначала, ведь земля последних мук не искала, заверни ея снова в ребячее одеяло, укачай, убаюкай, начни сначала, я ж Распятому ноги Тебе целовала, со кровавого льда убийцыно копьё поднимала, я с Тобой умирала, с Тобой воскресала, — о, начни же сначала! Изошла из живой земли кровь Раскола. Истекла кровию любовь! Встала босой-голой! Не собаки, не волки мы, не свиньи, не черви, не стрекоза на плече! О, мы люди, Господь, лишь люди, вышивкой на лесной парче! Так прости нас, о, прости, ежели можешь! Ты пройди нам казнящим морозом по коже, и огнём пройди, и железной плетью — сперва осуди, накажи, а потом обними: мы же дети...

Како тя, Всемирный Разлом, да остановлю?! Како твою, Вселенский Раскол, змею-трещину наново склею?! Неужто тем, што люблю, лишь люблю, одно лишь — люблю, а другово не умею, не смею?! Дивна моя обречённа любовь для мя самой! Изумлённа моя, осуждённа любовь из груди вылетает! И парит над Расколом, реет, и шелестит ему листьями: возвращайся домой, домой... с разъятой душой съединись, с распятой роднёй обнимись, взахлёб помолись, и я за тя помолюсь, я, бродяжка грешная, не святая...

Расколомся мой Мирь! На молчащих праведников и орущих поганцев. На бояр надутых да на холопов, што нещадно бьют Господа за провинность ногами. На торговцев и малеванцев. На память и забвеньё. На голодуху и наслажденье. На возмездие и преступленье. На сраженье и замиренье. На грохот боя, кто рубится под пауком, кто под звездой, кто под крестом, и на сиротскую, макову, юную кровь под бинтом. На целованье-прощанье на страшном распутье и на воровские парчовы лоскутья. На ярую песнь из глотки и на очи, сомкнутые кротко. На веру, што завтра жить не престанем, и надменное отверженье Причастья и покаяний. На людей, што братьев убивают дико и просто — и на пламена над близною холодных полей, неизречённые, равнодушные звёзды...

Не сыграть на рояле Раскол! Не выколотить стальным кулаком из органа! Это жизни моей крупный грубый помол, а мой Мельник седой и пьяный, а руками, башкою дрожит мой старик Винодел, хлеб-вино навсегда исчезнет... о, не канет! о, никогда! отыди, расточись, разорвися, беда! лучше стану Причастием-песней! Лучше хлеб и вино Господне громко-тихо я вам спою, перед трещиной той, ползучей змеёю, Дары Святые по небу, подобно полумному соловью, разбросаю из глотки звездами, превыше покоя и боя! Вы, орудья бессмертной музыки моей, златобрюхий кит, окянский рояль, плот-орган серебряный, по морю слёз плывущий, вы валитесь в разлом, в последнюю боль и жаль, и последний вопль ваш — о земных, погибающих Райских куцах!

Не сыграть! Не обнять мою музыку исполать! После страха нынешня — не быть несчастней!

...пусть я стану последней, безследной музыки мать, лишь, мой Мирь, не уходи, о, не гасни...

Только шёл Раскол, надвое Мирь разымая, и Господь по небу шёл, наша судьба немая, мы не видим Ево, мы хохочем над верой, открываем ногою нечестивые двери, поглощаем волчино заморские яства, жадно теша утробу, зрим могильную яму, пялим, трудники, колом встающую робу, у родново гроба плачем, безутешно рыдаем, а завтрашней стыдобы, грядущаго ужаса не ведаем, не знаем, и вот пробил час, нас охотничьим Царским рогом скрутило, вот Раскол, от рождения нам до могилы, выворачиваются потроха и души наружу, о, страдать доколе, а порядок Вселенский я не нарушу, я лишь пою, пою взахлёб, бесполезно, пою у Мира на краю, истошно блажу над угольной многозвёздною бездной, во срубе ярко горю, косточки во пламени уж истлели, а мой кондак повторю сожжёнными устами, из последних нищих силёночек, еле-еле, а мое Великое Демество шепчу, имеющий уши да слышит, пою, жгу тонкой кровавой глотки свечу, всё нежней, всё потайней, всё тише, а потом закричу — да на весь Мирь мой, надвое Богом расколот: я так хочу, Боже, я орган Твой, орлан, рояль, золотая печаль, крылатый корабль, серп Твой и молот! Я лишь слабая музыка-баба, в обречённом срубе сожжённа! Я лишь блеск ледостава, оврага приречново травное, млечное лоно, я лишь тёплое небо Пасхальное в сияньи предвечной лазури, небо справа и слева, поверх изуверской безумной бури, поверх безворотново, бешаново Раскола, небо сверху и снизу, глядит страшно и голо, всё яснее, всё ближе, поверх отчаянья и надежды, поверх боли и дыма, пока не сомкнулись вежды, пока любимые любимей любимых.

* * *

(мною спасённый)

Все случилось. Все взаправду случилось. Я Пред плахою огненной. Костёр горит. Отченька там, в костре. Он молчит. Не кричит. Во срубе крыши нет, только стены. Я рвусь туда, во сруб, в огонь. Пытаюсь выломать дверь. Откры-

ваю. Огонь летит вон из двери. Опаляет мне лицо и власы. Он молчит, а кричу я. Меня отгаскивают прочь, я вырываюсь и опять бросаюсь ко срубу. Я всё равно развяжу ево цепи. Вытащу ево из огня. Грязная, в ожогах, перед разверстой дверью во сруб, в Геенну огненную, во огнище святое, казнящее, я кричу надсадно и хрипло, и сама себя не слышу:

— Я беру этово человека в мужья!

Не слышу лес криков, он поднимается округ меня.

Меня больше нет; я вся перелилась в последний крик.

Они согласны?! Не согласны?! Обычай такой! Древний! Обычай надо соблюдать!

Кто входит, втекает во сруб, во пляску пламени? Я али кто другой? Я обратилась во всех и в каждого. Моими ли, чужими руками цепи разомкнуты, прочь отброшены? Тяжелы. Чугунны. Я бы такие не подняла тонкими слабыми ручонками. Нет! Не верьте! У меня руки сильные. Тяжелей земли. У меня руки Матери Земли.

Матери Смерти. Матери Жизни.

Я оставляю ево жить. Яко Апостола Иоанна оставил жить Иисус, возгласив во всеуслышание пред всеми Апостолами: хочу, шtbody он пребыл, доколе Я не прииду.

Я вынула тебя из огня. Из сердцевины горящих Мировъ. Из перекрестья, безумья лучей, казней, воцарений, костров. Ты болен? Здоров? Читаю твои ожоги на теле твоём. Не надо слов. Есть только знаки. Знаки это боль. Кровь: знак пребыть самим собой. Я, видишь, отче, пребыла самою собой. Твоею листвою, корнями и корой. Твоё Евангелие, отченька, напиши. Скрежетом зубовным. Кровью души.

Ты вынут из сруба. Выпростан из огня. Ты стоишь предо мной и глядишь на меня. В саже, ожогах, крови, смоле — ищо хоть немного поживи на земле.

— Я говорю, доченька, а ты помни, помни и пиши, пиши кровью, улыбкой, на помин души, воздыханьем любовным, погребальной литиёй, осмогласием кровным, ключевую водой, грохотом ледохода, обвалом войны, кричи голосом народа, зри ево горячие сны, зри ево широкие парчовые луговины, выходи на бой со врагом в ево полку, молись вместе с ним Богу Отцу и Сыну и Святому Духу, суж-

денному нам всем на веку! Я — народ, ты — народ, дочка! За землю нашу! Ея защитим! Не поставишь в кровавом Писании точку! Зри, голубь летит, и Солнце над ним! То Дух Святый! Враг ево не сжигает! Вражина ево, помни, никогда не сожжёт! И под ними небом одна молитва нагая пушай обожжёт тебе сердце и рот! Ты есть весь твой род, вся родова святая. Ты вынула, вытащила мя из огня — родила яко младенца... а жизнь всё одно истает, не нажмётся на свете, мало, мало времени для меня! Но вот тебе руки мои! Вот я, дважды рождённый! Вышел, перекрестяся, войны изнутри! Я тобою меченый, дитя! Тобою спасённый! Ты теперь мя во всю жизнь твою — во небесном чертоге — зри! Я Солнце твоё, Луна! Полночная вьюга шальная! Мною единым сочти все твои ночи и дни! А ты у меня одна, а како ты звати, не знаю... ты хоть на ушко мне, тихонько... шепни...

Огонь выл-завывал, не хотел утихать во срубе. Батюшка стоял на снегу. Я на снегу стояла. Молчал апрель. Солью горели мои обожжённые губы. Далеко, на краю света, нежно пел свиристель. И пред нашими широко раскрытыми слепыми очами проплывали картины Иной Жизни, Бытия Иново. Дни сменялись огненными ночами. Богомаз малевал морозные фрески светло и сурово. Старость и Смерть были равны Детству. Кровь, текущая вольно, была равна Богу. Прошное, Настоящее и Грядущее варились в едином котле, по соседству, в одном котелке рыбацком: стерлядь, белужина и сорога. Аввакум, а может, ты пророк, ты и есть Нострадамий! Пошто с маслом розы не ходишь средь чумных, бесноватых! Пошто ты снежную тенью мечешься, дымом летишь меж нами... над нами... Преодолей страданье веков, годов, дней проклятых! Зри, война опять, война навалилась! Шкурой волчьей обхватила... не сбросишь... не вспорешь... Помолися за нас всех, отченька, сделай милость! За народ твой, восставший на зло, гудящий лютым огнём на великом просторе!

А может, отче, Время-то само есть пророк?! оно одушевлено, оно заливается Божией птицей в ветвях! Парит в облаках! Да, отче, воистину так! Время — Пророк, Кровь и Бог, и мы вытираем Время-слёзы с лица, отрясаем с ног

Время-прах! Оно меняется, исчезает оно на ходу, внезапно является, рождается из пустоты... оно бормочет в чужом сне, мёрзнет родными ладонями на холоду, оно стреляет в чюдовищ, идёт босиком по снегу от версты до версты! Оно многолико, многослойно, многочудно... многокровно, многострадально, многогласо, оно Осмоглас... оно плачет в яме казнимой болярыней, умирать так трудно, умирать так земно, то солёное, тёмное действие не для небесных нас!

Задери башку! Застывают во облачах, на громадной фреске в огне, облитой суриком-кровью, Богородица-Матушка в синем небесном хитоне, и батюшка Аввакум, мученик, со звездой Чагирь во изголовье, а красный конь пасётся у ног ево, и там, вдали, идут ищо кони, кони... И слышно конское ржанье! А за конями идут люди, люди... Идёт великий Крестный Ход, движется воинство силы, идёт на войну со Злом великий родной народ, и, руки раскинув, летит над людьми в зените Господь Бог, от рождения до могилы! Летит наш Господь, наш душистый ржаной ломоть, наш сладчайший кагор, от Рождества до Пасхи, и молится весь народ: напоследок дай Тебе помолиться хоть, вкусить Твоей, Господи, пожизненной и посмертной ласки! Народ, век и год, глаголет пророчий рот, идёт, возвращается, неистовыми, вихрясь, утекает кругами, идёт по весенней Реке Мировь расколотый человеческий лёд, последний наш Царский народ, безумен, счастлив и строг, единым ликом своим яко Бог, расколот на Тьму и на Свет над нами.

* * *

(Последний Раскол)

Сотворил Господь небо и землю. Ненависть не приемлю. На небе возвышается престол Божий, а Царёв престол — во грязи, во бездорожья, во вьюжном острожья. Под небом Ангелы тихо стоят, Серафимы на страже молчат, Херувимы нежную, сладкую песнь припевают: ты, мол, живой, человеке, и ты, баба, живая. Богу ликуя, Ему лишь служи, а всё одно взденут ты на ножи. Юзы — навеки твой приговор; железы гремящи, серебряный хор. Родил ты Господь из

небытия в бытиё, нацепил на тя снеговое бельё, дал вкусити мудрости, а затем погрузил в ледяное море забытья. И стоит близ тебя Богородица, и беззвучно поёшь ты устами дрожащими псалом во имя Ея.

Рек Бог: буди небо, и явилось небо. Рек: да восстань земля, и стала земля. Рек: плыви, текучая вода, исчезай без следа, также и жизнь человекья течёт, в рыданьи кривится рот, в тихой молитве поминаю род. Тяжёл Времени ход. Да хочю не отстать. А то желаю вперед забежать! Время, не смейся. Тебе исполать.

А мне всё равно, земляка-земля, по воде ты плывёшь али стоишь на живущих китах; стоишь ли до пепла, уйдёшь ли во прах; испытаю ль ищо раз смертный страх али встану в небесах у Бога Господа на часах, — всё одно, согласен сплошь со всем, ибо, Господи, ничево о смерти не вем.

Тяжка вода, да ведь тяжела и земля. Лёгок воздух, и лёгок огонь. Он летит быстрее всех погонь. Воздымается, красный лес, выше башен всех, всех небес. Огонь жив и на небеси: да пощады у нево не проси. Огонь землю поедом ест, людей с ног сбивает окрест, обнимает орущих женихов и невест, — огонь лишь единый наш Небесный Крест!

Это огонь землю надвое расколел. Надвое разрубил людей. Ево — Раскол. Лишь огнищем единым — владей!

А вы-то мыслили: огонь — колыбель, огонь — родильная постеля, огонь — ложе любви?!

А ты не рядом с ним — в нём поживи!

Што?! Не хочешь?! Не смогаешь?! Огонь из груди голою дланью вынимаешь... огнём целуешь... огнём благословляешь... што станет на земле после Раскола, не знаешь...

Расколется наново земля. Расколется надвое синь-окиян. Разыдутся горы и доли. Всяк предстанет пред Богом голым, от голода чёрен, от стыда пьян. Грешники, кромешники!.. Адовы приспешники... Да, вдумайтесь, Мирь-то расколот на Рай и Ад! И нету пути-дороги назад!

По правую руку — трава густая. По левую — земля выжженная, пустая. В водах солёных земля тонет, прянет на дно, к судьбине своей пригвождённа, яко камень тяжкий. Одета земля, яко младенец новорождённый, во снегов злую рубашку. А время приспеет — ни рек, ни

морей, ни травы, ни цветов, ни в печи берёзовых дров; и надвое раскололась любовь, раскололась моя любовь!

Не пьяль, баба, пред зеркалом-стекляшкой чудных украшений. Не делай движений. Не прибрассывай к бранным телесам блажные наряды. Зри, Ад-то, он рядом. Далёко в небесах Златово Рая корона. Ледяные дожди льют с небосклона. Густые снега твою жизнь засыпают. И душа твоя... сонная... пред казнию... во застеночке... робёночком... спит... засыпает...

Раскол Новый грядёт! Последний! На землю и воду! На звезду и кромешную тьму! На Потоп и Спасенье! Людие, неохота ведь вам всем разом тонуть, вам охота сладостей и веселья, вам охота в чистое небо глядеть, песни петь заревые, а не забиться в железную клеть, не гнуть пред новым чудовищем свои жалкие выи! Разверзнутся хляби небесные, и хлынет забвенная, белопенная вода на грады и веси, на леса и долины... Раскол, он опять нас обнимет! Воплем неистовым! Стоном долгим, длинным! Всё помрёт в земляном Разломе, в Потопа бушующих водах: и не будешь бормотать ничево, кроме... последней, хриплой молитвы поверх общево плача народа...

Сколь времён Последний Раскол на земле будет длиться? Сколь царствовать будет? Слезы склеивают мне веки. Залепляют ресницы. Дрожу, яко в погребнице, в могильной остуде. Над жизнью трясуся: ах, люди мои, скоты, гады подземные, блохи-стрекозы, и звери, и птицы! То мне ваша общая жизнь снится?... или вам — моя — мнится-блзнится?..

Да!.. видите вы меня. И надвое расколуюсь я под мечом пламенным Ангела Рая! Изгоняют прочь мя, я всево лишь человек, от созерцанья Бога моего умираю! Я умираю, из Рая на брюхе ползя, на Рая пороге... ты, слышишь, даже ежели нельзя, ну помоги хоть немного...

Я не праведник! Не Ной я брадатый! Вовек не спасуся! Я лишь во смерть иду, как во солдаты, бормоча торопливо: Господи Иисусе... День — на пиршество да на работу каторжну, ночь — на покой... а после опять бысть ясное утро, и снег на Солнце заиграет, зажжётся яхонтом и перламутром, и лица людей румяные по вялице-льду красными яблоками раскатятся, да, навеки... на горе и счастье снова расколемся мы, человеки!

Вечерня, полунощница, заутреня, часы, литургия... Раскололась Церковь. Значит, и мы другие. О, нет! Нет! Нет! Мы-то, людие, всё те же — лисы, волки, зайцы, медведи, невежи! Жестоко, хищно на заливке, на глотке у ближнего клыки сжимаем! Всё идём-бредём, да никак не дойдём до Рая, а уж так взыскуем тово желаннаго Рая, што тоске нашей по нём нету ни конца, ни краю...

Яко ставец древняный, миску-жизнь в застолии расколи! А она вдругорядь со стола в люди покатится — со вершины горы, на краю земли!

Мы всё такие ж: гнутые-битые, поутру неумытые, с молитвою слиты, проклятьями перевиты! Мы себя хвалим-хвалим, да и обождём-си об похвальбу... мы себя любим-любим, да и напоремся в темноте на судьбу! На ея вострый нож-тесак... на ея мощный клык... ах я старик-дурак, я-то ко моей старости не привык! Не пообвык ишо я жизнь мою на младость и дряхлость молотом расколоть — а глянь, уж за плечом стоит моим молчаливый Господь! За другим плечом — Архангел свет-Михаил: што, бает, Аввакуме, шастаешь повдоль древних могил?! Не хочешь ли пополнить сонмище безвестных мертвцев? Давным-давно на забытом кладбище твоя забитая батогами, забытая, ветхая деньми любовь!

В полунощи восстах исповедатися на судьбы правды моея... Опять не сплю, опять на часах. При мерном, железном ходе бытия.

И расколосся надвое мой сияющий временной круг, и осыпалась иглами осенней лиственницы моя цифирь, ожерелья узорных дыр — удержать тя, Время моё, не хватит рук, а Раскол и есть мой, людие, суждённый Мирь...

Надо нам восплакать о наших грехах! Надо побороть Времени страх! Тот счастлив, кто, Времени не убоясь, упал ликом в придорожную волглую грязь! Солнце в сердце дня! Луна на груди ночи моей! Расколосось Время на время людей — и время без людей; расколосось, разбилось на вневременье и времён Ход Страстной — душа, ты хоть одна там, в вечной ночи, не забудь, што тут стряслося со мной!

Прорастают травы, зело красивы, цветиками цветут; червонны, лазоревы, снежнобелые, небесные, всякому по нраву, под ноги любовно ложатся там и тут; а мы-то, злыдни люди,

их косим, косим... косу остро наточим, на Солнце блистает, по травам ходит, звенит... Мирь вечно погибает, не прощаем, невозвращаем, не подымется боле в зенит... Древеса сладчайшие! што тебе чаши Райскаго Сада! яблони, плоды в соку, малина, спелая услада, черника у светлого луга на боку... Не может, людие, быть таково, штобы весь возлюбленный мой окоём взял да погиб, истёк кровию снова... тогда дай, Боже, с ним вместе помереть, вдвоём!

Раскол! Ни благоуханья. Ни цвета. Ни кедра. Ни берёзы в молчаливом лесу. Раскол! Разымутся недра. Землю держит Господь на весу. На руках... реки с гор срываются водопадами... птица Сирина и птица Рух воспарят в синеву... не надо громко плакать, рыдать за двух...

Раскололась жизнь на Женщину и Мужчину. Раскололась на пищу и глад. Нет теперь у людей пригину. Лишь глаза обречённо горят. Всякой твари невнятно Слово. Всякой птиченьке. Всякой змее. Умереть никогда не готовы. Ни на небе. Ни на земле.

Может, людие, я Адам?.. никово из вас не обижу, не предам. Никого за грязную монету не продам. Мне отмщение! и аз воздам. Только не идите кланяться мне в пояс и земно; не пластайтесь предо мною никто! Я лишь ваше разбитое зеркало. Не преподобный я, не святой. О, не святой я! Вы слышите! Слышите! Пусть во срубе приговорён стою, в бескрылой избе... Што карябаете там гусиным пёрышком... што тамо пишете... сказку новую, о новой голи-сарыни-голытьбе... Я Адам, пушай, а где же Евва моя? Верная моя жёнка?.. а, вот ты, Настасья... раскололи и нас с тобой, раскололи... Слышу издаля, ты плачешь, инда робёнок, мышино, тонко, ни памяти, ни вьюги, ни песни, ни боли... Ни твоей колыбельной у новой младенческой зыбки... ни твоих рук-ног горячих, во постеле, под холщовою рубахой... я изранен весь, избит, а кровь засыхает липко, запекается, яко в ночи, в печи, твой пирог, похожий на плаху...

Тесто... тесто... хлеб... мы, всяк, тоже тесто... грубо нас валяют и месят... в печь швыряют... на жадном, диком огне выпекают... так, Женних я святой тебе... а ты мне святая Невеста... ты ждала мя месяцами, годами, веками... Ты ждала мя закатными лучами, заливыми луга-

ми, ты вязала имя моё рыбакам таинственным бреднем... ты бежала ко мне, спотыкаясь, нелушными босыми ногами, за верстою версту, за обедней обедню...

Душа моя — лесной студенец... бьётся-вьётся ключ... видать начало, а где же конец...

Настасья ли?.. эй, как зовут тя, девица?.. Лице твоё не знаю... неведома мне, незнакома... Болярню — знаю... сестрицу ея, Авдотью Урусову, знаю... а ты кто, шальная... немая, босая... внезапней града и грома... пьяней голубиной сизой браги... крепче ягодной ярко-алой настойки... исполнена дикой зверьей отваги... стремленья безумней во вьюге скаканья праздничной тройки... куда ты, куда ты, от мя куда ты... Раскол, ты же видишь!.. земля плывёт под ногами... Раскол, то рушатся твердокаменные палаты, сосновые избы, еловые шалаши... и рыбе Время идёт по воде кругами...

Круги по воде... круги по воде!.. Круги, девчонка, по звёздному небу... Гляди, мы с тобой на кромке огня... без огня не прожить и дня... подпалит, и не охнем, примем судьбину... Никогда не хотел я быть, яко Бог, да и ты глядишь таково ясно, нежно, што зрю — нету страха в тебе, а есть лишь молитва Отцу и Сыну... И Духу Святому; держи Ево Слово во рту, выдыхай в мя последнею лаской — последний мой Ангел, бабью, девью твою красоту расскажи мне тишайшей последнею сказкой...

Я не лев, не змий, не бык!.. к тебе, яко к живой водице, приник... очами пью тя, душой испиваю... стоим на кромке огня, Раскол на излёте дня, сей миг и помрём, а вот душа, душа-то живая...

Стоим на краю Огня! Боле не живи без меня! Не живи без мя, девчонка, старуха, юница! Лишь любви для живём! дышим ея огнём! лишь любовью движима во мраке земля, расколы, а всё такая ж она сохранится... Всё такая ж приснится!.. летят лица, лица... я твоё-то забыл, девчонка, лисёнка... птица вещая ты моя... на краю бытия спой мне, птиченька, весело, звонко! Спой... да што хочешь спой!.. Сердце мне открой. Отвори душу. Распахни голые руки. Стой на ветру так — Христовым Крестом! Всё сей час! Всё потом! Всю великую смертную муку!

Вот, зри, свечи уж несут! Пламя дымное! Это

наш с тобой, девка, Страшный Суд! Эх, и возгоримся же! Эх, и полетим по ветру огненными языками! Да, огненный мы, святой Народ! И, ведай, никто никогда не умрёт, ни до нас, ни после нас, ни меж нами!

Ты робёнком знала мя. Ты мой снег и моя земля. Ты мелькала мимо глазёнок моих, у мя под ногами, когда я бежал... когда тяжело, во хвори-жару, трудно дышал... когда Раскол предо мной расхотился кровавыми, чужими кругами... Ты мой круг! Не разомкну крепких рук! Да не руками тя обумаю, слышишь ты, не руками! Но едино — душой! Задыхаюсь... постой... вот огонь, и рвётся-ползёт, и блажит между нами! Это он нас объял! А мы крепче скал! А мы-то стоим, а он гудит, гудит красным кровавым гулом! Это, милая, так наша кровь гудит стократ. Это звенит наш набат! Штобы душа наша, ленивица, сонливица, ни на миг не уснула!

Како Христос Бог сказал: молитесь и бдите! Да вяжутся пламени нити! Да свяжут нас, юница моя, дитёнок мой малый, детонька, Ангельчик милый, крепко-накрепко... а где и где ж мальчонка-то твой?.. Што шепчешь?.. уж звездою над головой?.. уже в небесех?.. уж там, в горнем сиянии, за могилой...

Нет могилы и нет! Есть только вольный, непомерный Свет! Ево побороть хотят, расколоть — а Он всё сияет, нетленный! Этот Свет, девчонка, он везде, он здесь! Может, то ты и есть! Ты — над бездною, над расколотою во брызги Вселенной!

Ну, а я-то с тобой! Царь Космос я с бородой! Аввакум я, протопоп аз есмь грешный, измождённый! Не отринь же мя! Не сведи с ума! Мы-то в пламени вечном, рабочем, подённом!

Ты работай, огонь чермной, жги-трудись! Вся такая наша жизнь! Только пламя! Только огнище! Для владыки-Царя! для смерда! для бунтаря! для последней — на торжище — нищей!

Я уж боле не ясырь. Я ныне сам себе богатырь!

Челобитные кровию поздно писать. Господь, Тебе исполать! Ты наш огненный Царь! Ты наше пламя! Обними крепче, дочка, отца своего! Это наше навек торжество! Это мы в народе воссияем кострами!

И пройдут века... и Сирин-птица в небеси воспёт... и народится на свет Божий новый

народ... и рассеется по расколотою земле, по осколкам ея, по кускам дымным, кровавым... и сберёт пепел наш в кiset, и мошам нашим даст обет, и споёт нам Иже херувимы и Вечную славу... Да, не Вечную память, а Вечную Славу; во Славе — наш кровоток; Слава живая, ей больно; Слава — основа и уток; ты прижмись, не вопи, больно будет недолго... мы люди... станем Ангелы... вознесёмся... не загрызут нас желтоглазые волки... боль перевяжут нам Адом и Раем... власы вьются костром... вспомните нас, людие, молитвой-добром... мы горим!.. мы горим... горим!.. и сгораем...

* * *

(держись крепче)

Тебе сказать, как народ наш обнимается со смертию? Не знаешь. Забыл уже. А я помню! Санки, салазки за бечёвку бери! Тащи! Зимний день перламутровый изнутри. Во печи, в чугуне, мамкины кислые щи. Айда с горы кататься! Внизу река ледяная. Мы ищо дети. Мы не жили на свете. Вот сей час, тут живём. Холодно! Голодно! Весело! Стоим на ветру, на юру. Снега белый огонь. Гора над рекой крутая. Ты не святой. Я не святая! Я просто девчонка! Ты просто малец. Далеко во сугробе крест-голубец. Войне, ведьме, конец! Солнце злато льёт! Белая круча. В небесах туча. Нежный снег. Синий лёд. На салазки — верхом! Ты мальчишка? Старик? Тебя вниз столкну! Катись! Катись?! Мимо мелькает жизнь. Быстро! Ищо быстрее! Ищо! Сердцу горячо. Девчонка! Смелей! Снегирь на ветке поёт, дуралей. Несёмся! Бешано! Вперёд! Нельзя назад! Лишь вперёд! Только вперёд! Разбиться не хочу! Боль под пятой! Санки! Розвальни! Стой! Нет! Нет!..

...никто. Никогда. Не умрёт.

Аще бо во Иеросалиме возрастет от Духа Святаго вера и тамо первее распространися, везде в правоверных возрасте, а не приде; от Иеросалима изшедше учаху языки, но и паки возвращахуся от востоку и до полудне и от запада во Иеросалим апостоли, и тамо прибежище им бе; во Иеросалиме бо и гроб Господень и Пречистая Богородицы Девы Марии, житие и успение и гроб ея чудотворный на месте, нарицаемем Гепсинани, пребывает; но и в день воскресения на всяко лето преславно огонь с небеси сходя, на гробе Господни во Иеросалиме свещи вжигая православному патриарху с причтом поющим: Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех. Воистинну благословен Господь от Сиона живой во Иеросалиме. И святой убо Захарий рече: обращуся и вселюся посреде Иеросалима. На Сион сниде Иоанн Дамаскин воспеть: радуйся Сионе святой, мати церквам, Божие жилище. В том бо Господь Бог тайну вечерю апостолом подаде, разумей же церковь, и нарече ю в жилище себе до века. Аще бо и чрез триста лет истинныя церкви во Иеросалиме не бе, одержания ради мучителей царей, до великаго царя Констан-

тина; но сих ради святыя места не погибоша. Пуста бо бысть церкви Иеросалимская за неистовство жидов; но благодати Божия не лишися: от всея бо земли и моря преходят вси и благословение кипящее от Иеросалима взимают, о нем же пишет Феодорит на псалом сто перьвый: трилюбезен бо есть нам Сион, аще и зело пуст бысть, любима же и каменья разоренная и персть раскопанная ратными: память бо сих любезна есть нас ради содеянных в нем великих таин и благодатей. Но скращу за умножение свидетельств: в Книге бо о вере, в первом слове, ясне узрит кто.

**Челобитная Александра, епископа Вятскаго,
к царю Алексею Михайловичу**

Елена Николаевна КРЮКОВА

родилась в Самаре.

Поэт, прозаик, культуролог.

Окончила Московскую государственную консерваторию

и Литературный институт им. Горького.

Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России,

Издательского совета Русской Православной Церкви.

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),

Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»

(2014, 2016, 2019, 2021), международных литературных премий

им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016),

им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017),

премии им. С. Т. Аксакова (2019), премии им. Ф. И. Тютчева (2020),

премии журнала «Север» (2020), премии им. Н. Н. Благова (2021),

премии им. С. Сергеева-Ценского (2021) и др.

Публикуется в литературных журналах России

и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада).

Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

